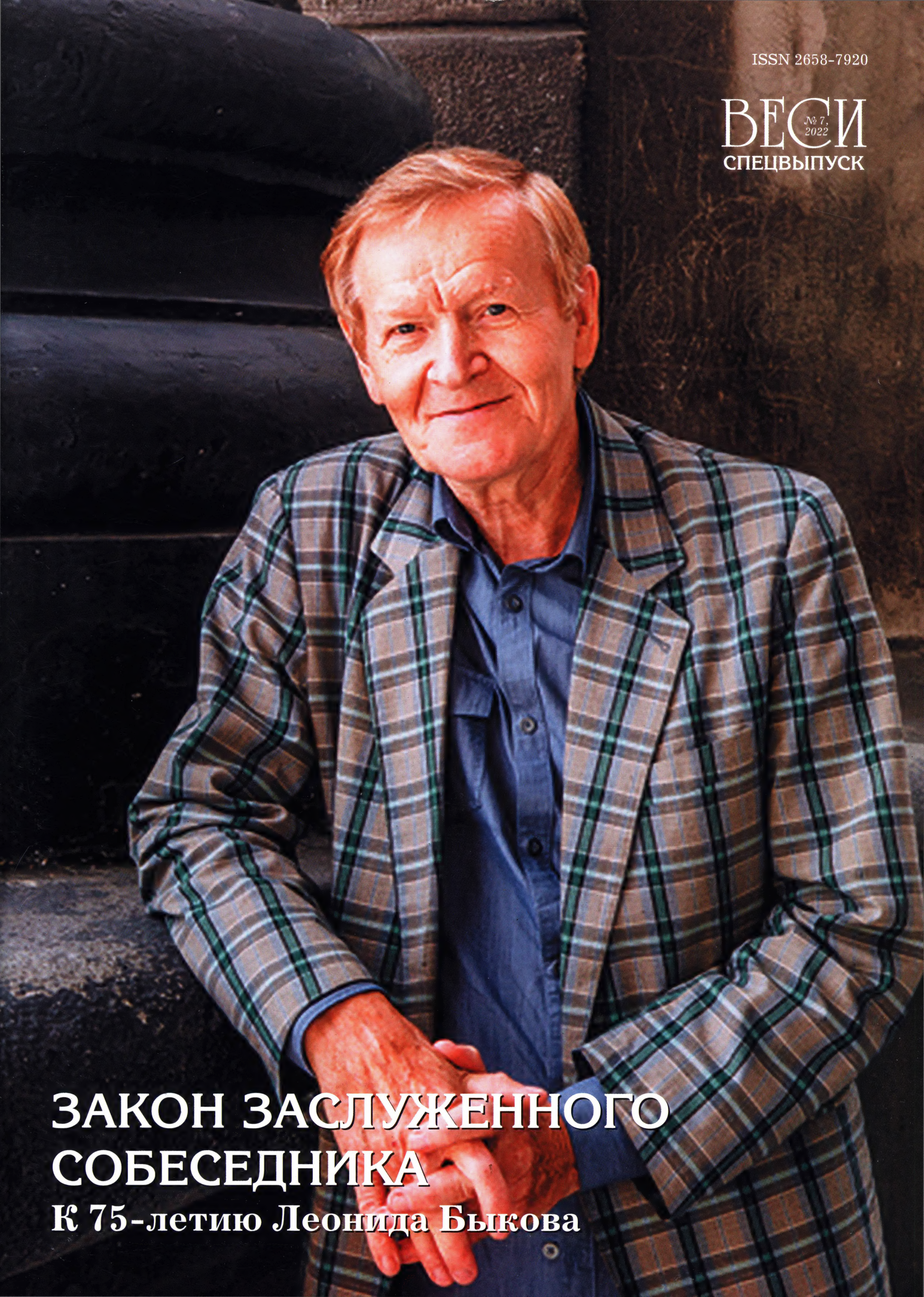

ISSN 2658-7920
ВЕСИ
№ 7, 2022
СПЕЦВЫПУСК
ЗАКОН ЗАСЛУЖЕННОГО СОБЕСЕДНИКА
К 75-летию Леонида Быкова

В.Волович, Л.Быков, Т.Мерзлякова и А.Бисеров.

Е.Зашихин и Л.Быков.



Здесь твое будущее!

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация Восточного управленческого округа Правительства Свердловской области (623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 23)

Учреждение культуры «Банк культурной информации» (620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 51).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Т.Е.Богина

Корректор номера
Дмитрий Андреев

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ:
Учреждение культуры «Банк культурной информации»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 51
сайт: www.ukbki.ru
e-mail: ukbkin@gmail.com

Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу 1 апреля 2005 года, ПИ № ФС11-0139.

В номере использованы фотографии Е.Улаз, М.Козлачковой, С.Фоминых, из открытых источников и личного архива Л.Быкова.
Подписано в печать 07.09.2022 г.

Отпечатан в АО «ИПП «Уральский рабочий».
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

12+

Тираж 2500 экз. Заказ № 706.

Цена свободная.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Из стали с ядом выкован
Критический дар Быкова.
Не раз свой зад держали мы,
Его иглой ужалены.
Но этот яд пользителен,
И впредь его колите нам!

Владислав Крапивин

Чтобы не возникал вопрос: почему этот выпуск журнала целиком отдан одному автору? – поясним: Леонид Петрович Быков – известный не только на Урале филолог и литературный критик, фигура в культурном пространстве Екатеринбурга по-своему уникальная. Там, где значится его фамилия или где появляется он сам, всегда интересно, содержательно, нескучно.

Родившийся в 1947 году в районном центре Сухой Лог, что в сотне километров от Екатеринбурга (тогдашнего Свердловска), он после окончания филологического факультета Уральского государственного университета (памятного многим УрГУ, а ныне – УрФУ), остался в родном вузе, где сначала молодым ассистентом, а затем профессором, он более четверти века возглавлял кафедру русской литературы XX века.

Автор немалого числа литературоведческих трудов, доктор филологических наук Л.П.Быков еще и член Союза российских писателей, представляющий весьма редкую в наше время породу – литературных критиков.

И еще он не только скрупулезно оценивает чужое творчество, но и сам умеет рифмовать, откликаясь своими экспромтами на многие примечательные события культурной жизни Екатеринбурга, Урала, России. Не удивительно, что в его библиографии рядом с трудами «Уроки времени» (1984), «От автора» (2007), «Сквозь призму жанра» (2017, 2 изд. – 2018) – соседствуют сборники так называемой «банкетной лирики»: «В своем кругу» (2010), «Второй состав», «Третья четверть» (2022).

Некоторые примеры этой разнообразной деятельности Леонида Петровича и представлены в этом номере. Номере, страницы которого, надеемся, убедят, что эти «Веси» – о многих и многом.

Татьяна Богина,
главный редактор.

ВЕСИ

№ 7 (185)` 2022
сентябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ ДЕСЯТЬ РАЗ В ГОД

К 300-летию Российской академии наук и к 75-летию доктора филологических наук, профессора Л.П.Быкова

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОНИД БЫКОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация
Восточного управленческого округа
Правительства Свердловской области
(623850, Свердловская
область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 23)

Учреждение культуры
«Банк культурной информации»
(620100, г. Екатеринбург,
п/о 100, а/я 51).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Т.Е.Богина

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ:
Учреждение культуры
«Банк культурной
информации»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
620100, г. Екатеринбург,
п/о 100, а/я 51
сайт: www.ukbki.ru
e-mail: ukbkin@gmail.com

Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу 1 апреля 2005 года, ПИ № ФС11-0139.

Дата выхода в свет 07.09.2022.

Отпечатан в АО «ИПП «Уральский рабочий». 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Тираж 2500 экз. Заказ № 706. Цена свободная.

Журнал удостоен медалей



Российской Генеалогической Федерации «За вкладъ въ развитiе генеалогiи и прочихъ спецiальныхъ историческихъ дисциплинъ» 2-й степени



имени Н.К.Чупина



имени Л.К.Татьяничевой

Журнал награжден почетными знаками



Российской академии естественных наук «Звезда успеха»

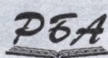


Союза старателей России «Заслуженный старатель России»









Издается под патронатом Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Российской библиотечной ассоциации и Российского представительства TICCIH.

Международный Комитет по Сохранению Индустриального Наследия. Российское представительство.



ЗАКОН ЗАСЛУЖЕННОГО СОБЕСЕДНИКА

Леонид БЫКОВ.

Литераторы обычно грешат сочинительством уже с детства. Но вряд ли кому встречалось юное существо, мечтающее вырасти критиком. Это поэтами рождаются, критиками же – становятся. В силу стечения обстоятельств.

«Стихи читает чуть не вся Россия и чуть не пол-России пишет их» – частным подтверждением этой констатации, сделанной в начале 60-х, были и мои подростковые годы. Многие в нашем классе выписывали журнал «Юность», кое-кто хвастался и сборниками Евтушенко и Вознесенского, каковые можно было выпросить на пару дней.

Но как-то раз в комнате рабочего общежития один из ее обитателей, казавшийся мне, восьмикласснику, почти настоящим поэтом, скептически отрецензировав не только свои публикации в районной газете, но и стихи моих тогдашних кумиров, достал из тумбочки книгу, у автора которой была совсем не поэтическая фамилия – Пастернак, и прочел несколько стихотворений, мало походивших на то, что притягивало мой взгляд на страницах «Юности».

Не скажу, что с той поры я, тоже, признаюсь, чего-то там рифмовавший, и по случаю даже удостоенный снисходительной похвалы побывавшего в нашем райцентре седовласого С.П.Щипачева («Я в ваши годы рифмовал хуже...»), стал уверенно различать, где в стихах лирика, а где риторика, но представление о том, сколь широки горизонты поэзии и сколь наивно ограничивать свой кругозор ближайшим рядом пишущих и печатающихся, становилось все более осознанным. Оно и привело меня на филологический факультет Уральского госуниверситета им. А.М.Горького.

Выпускник вуза получает диплом, и в приложении к нему названы предметы, усвоением которых обеспечена означенная в желанных корочках квалификация. Однако не меньше, чем перечисленные там дисциплины, дали мне в студенческую пору счастливые часы внеучебного общения с однокашниками и преподавателями. Сентябрьский «уборочный» колхоз и целинный стройотряд, факультетская стенгазета и университетская многотиражка, театр поэзии (и такой был в УрГУ!) и эмоциональные монологи гремевшего тогда на всевозможных поэтических диспутах в Свердловске Бориса Марьева. И, конечно же, кружок критиков, который вел А.С.Субботин.

Оглядываясь на четверть века, прожитые близ Александра Сергеевича, скажу, что он всегда казался мне старше своих лет. Это впечатление определялось не только слегка сутуловатым его обликом и резкостью линий лица – существеннее было не внешнее, а внутреннее: все, чем Александр Сергеевич ни занимался, он делал с основательностью и серьезностью, редкими вообще, а для человека, чьи убеждения, вкусы и пристрастия формировались в недолгие годы «оттепели», – редкими особенно. До университетской кафедры он работал в школе. У него можно было и хотелось учиться. Учиться отношению к делу и тому реальному историческому времени, которое отпущено каждому на жизнь.

Субботин жил, полагаясь на здравый смысл, в сложных си-

туациях, случалось, бывал осторожен, судьбу не искушал, ибо хорошо помнил не только об «оттепельной» поре, но и о годах, что ей предшествовали. Но при этом он абсолютно был лишен той пластичности в намерениях и поступках, которая выглядит идейной и нравственной податливостью. Он хотел, подобно Маяковскому, главному герою его размышлений, быть максимально полезным здесь и сейчас. Трезво сознавая, что времена не выбирают, он отдавал свои силы и способности очеловечиванию существовавшей общественной системы. Гуманистическое это просветительство равно необходимо при любом устройстве жизни.

А вторым – после Уральского – университетом стал для меня журнал «Урал». Его публикации, его редакторы, его авторы. Критика в «Урале» не была – по крайней мере, на моей памяти – провинциальной. И не только потому, что здесь печатались Лев Аннинский или Игорь Золотусский. Ведь и работы тех, кого я видел чуть ли не ежедневно – В.Лукьянина, А.Субботина, Н.Лейдермана, а позднее и Е.Зашихина, В.Курицына, М.Липовецкого – тоже неизменно держали высокую планку. Каждый, естественно, пишет, как может и умеет, но разве не важно, у кого ты печатаешься, кто тебя просит написать и кому ты показываешь получившиеся вроде бы странички?

И здесь я – как, вероятно, почти все из названных – благодарен Нине Андреевне Полозковой, под чьим началом критический отдел этого журнала работал много лет. Она никогда не убеждала меня в том, что литературная критика не потому так зовется, что обращена к словесности, а потому, что сама представляет собой литературу, но аккуратные пометы на приносимых мной в «Урал» материалах склоняли именно к такому пониманию. Ведь если рецензент призывает стихотворца или прозаика отвечать за каждое в публикации слово, то и собственные абзацы он вынужден поверять тем же императивом.

С тех пор было немало и рецензий, и статей, и семинаров, где доводилось быть сначала руководимым, а затем и руководящим. Партийное постановление «О литературно-художественной критике» (1972), дополненное другой директивой ЦК «О работе с творческой молодежью» (1976), обязывало пестовать советских Аристархов и Зоилов. Бригадный подряд тут, понятное дело, больших радостей сулить не мог, тем не менее замечу, что почти все, с кем выпало участвовать в таких семинарах, по выходе из «семинарского» возраста не потерялись, и фамилии эти привычно видеть в критических рубриках.

Конечно, в основе стратегии подобной заботы власти о вступающих на литературную стезю была установка, о которой можно было бы выразиться, процитировав певца советского жизнеустройства, что нас тем самым «прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды». Однако идеологическое зомбирование, если и имело при этом место, то носило уже чисто ритуальный характер, что, кажется, понимали обе стороны. Вообще внутренний редактор в брежневские годы значил куда больше, нежели внешняя цензура. Именно он позволял совершенствовать «искусство сказать все – и не попасть в Бастилию» в стране, где демократия называла себя социалистической и этим определением, понятно, существенно сужалось определяемое. Внутрицеховая взыскательность, чувство общего дела, сама атмосфера творческой среды влияли несоизмеримо больше тускневших на глазах лозунгов и идеологем.

В одной из книг Людмилы Петрушевской встретилась такая констатация: «Мы живем в конце теплого родного ужаса, который называется Двадцатый век». Более половины населения нашей страны и ныне – соседи по этой историей выделенной жилплощади. Ведь родина каждого человека – это не только место, а и время, не только определенная точка на карте, будь то село, райцентр или столица, но и вполне конкретная эпоха – те десятилетия отечественного и мирового бытия, которые совпали с отпущенными лично тебе годами жизни.

Волею мощных социальных обстоятельств мы из того времени, из того Дома эмигрировали. У эмигрантов же по отношению к оставленному – две крайние позиции: либо его вычеркивание, дискредитация – как объяснение и оправдание своего избытия из метрополии, либо элегическое воскрешение этого былого, когда и самым горестным признаниям сопутствует привкус ностальгии. Можно ли нажать «Delete», оглядываясь на прожитые тобой советские годы, какими бы они из сего дня ни выглядели? Была такая страна – СССР, мы в ней родились, росли и в стремлении самореализоваться встраивались в тогдашние институции.

Нам выпало жить на излете советской эпохи. Да, власть дряхлела на глазах, но фиаско идеологии и политики не было тотальным крахом. У Бориса Слуцкого есть строчка о том, что «на нарисованной земле росли живые цветы». И очень важно – не столько даже для других, сколько для себя самого – осмыслить эту диалектику живого и нарисованного.

Литературная жизнь в Советском Союзе, свидетелем и рядовым участником которой довелось быть, в новом веке нередко трактуется однозначно как нечто абсурдное. Без абсурда и впрямь тогда не обходилось (а разве его нет сегодня?). Но она, жизнь, если и не была естественной, то воспринималась большинством как нечто неизбежное и потому приемлемое. Есть у «шестидесятника» Ст. Рассадина (он, собственно, и воскресил по отношению к своим сверстникам этот термин) «Книга прощаний» (2004), где много исповедальной горечи, но при всех безрадостных признаниях критик весьма последовательно проводит мысль о том, что и, живя в абсурдном мире, человек не может при-

знать свое существование абсурдным, а свою работу – сизифовой. Будучи прописанным на перетоке веков и эпох, каждый жил и живет в соответствии со своими убеждениями и собственными представлениями об этике и эстетике, политике и истории, войне и мире. Словом, о литературе и жизни.

Говоря о других, критик говорит и о себе. Критика для меня – это прежде всего школа понимания. И не только литературы. Мы ведь читаем не книги – с помощью книг читаем себя. В этом смысле все добросовестные читатели – критики. С той только разницей, что читательские реакции числящегося по этому ведомству фиксируются в строчках печатного текста. А раз уж какие-то соображения стали текстом, они нуждаются в продуманности, они хотят быть воспринятыми. Востребованными для осмысления. Физиолог А.А.Ухтомский в одном из писем – они в начале 1970-х публиковались «Новым миром» – обосновывал закон заслуженного собеседника. Таким заслуженным собеседником для читателя и писателя хочется быть, когда ведешь речь о своем понимании той или иной книги.

В беседе негоже быть надоедливым. Я написал несколько длинных (в печатный лист и более) статей, но хорошо сознаю, что критическое многословие не для меня. Нескольких страниц бывает достаточно, чтобы сказать то, что хочешь о своем герое, будь то Гумилев или Твардовский, Павел Бажов или Николай Никонов, Алексей Решетов или Борис Рыжий.

Одна из традиционных задач критика, сколь ни казалось бы это старомодным, – полагаясь на собственный вкус, опыт и здравый смысл, называть вещи своими именами. То есть, говоря о художественной сфере, отвечать на «детские» вопросы: что такое хорошо и что хорошо не очень. Понятно, если станешь выставлять литераторам отметки или выстраивать иерархии, выглядеть будешь комично, но ведь и уклоняющийся в критической речи от открытого выражения своей позиции тоже смотрится весьма не лестно. Суждение не сводится к оценке, но, так или иначе, предполагает ее.

Другое дело, что откликаться на каждый новый том – особенно ныне, когда что только не издается – не получится, да и не надо. Самим фактом разговора о каком-либо произведении, вне зависимости от тональности речи, мы уже выделяем это произведение из прочих. Так что, будучи профессионально готовым к тому, чтобы сформулировать собственное мнение о любой прочитанной книге, критик пользуется правом голоса все-таки по своему выбору. Ведь авторитет критика определяется в первую очередь его репутацией.

Очень значима для меня и возможность не только вести речь о каком-либо издании, но и самому способствовать выходу книг тех авторов, которые, надеюсь, достойны общественного интереса. Отрадной многие годы была для меня работа над серией поэтической классики, выходившей в Средне-Уральском издательстве. На рубеже столетий сотрудничество с новыми издательскими коллективами в Екатеринбурге позволило состояться книжным проектам, связанным с современной словесностью. Это «Зеркало. XX век» и «Гласные» («У-Фактория»), «Библиотека поэзии Каменного пояса» (Банк культурной информации), рад поэтических антологий (ИД «Сократ»).

В подготовке «чужих» однотомников есть и личная корысть: критика живет, прежде всего, в периодике, только вот газетные и журнальные строчки обречены на некоторую, скажем так, одномоментность, тогда как персональные пристрастия, выразившиеся в составленных тобой книгах, способны на куда более длительный читательский резонанс.

Критика бесполезна, но необходима. Она нужна не только (а подчас и не столько) писателям и читателям, сколько самому искусству и самому критику. Впрочем, аттестовать себя критиком (равно как и поэтом) можно только при той степени самонадеянности, что граничит с нахальством. Важно, чтобы тебя признали критиком другие.

Со студенческой поры у меня привычка сопровождать публичные события, участником или свидетелем которых доводилось быть, рифмованными экспромтами, каковые или озвучивались на самом событии, будь то открытие художественной выставки, презентация новой книги, юбилей, или же на другой день становились не лишним к этому событию постскриптумом. Многие годы я не придавал выдержанным в шутливой интонации опусам сколько-нибудь серьезного значения и не заботился об этих листочках. Однако все чаще слышал, что эти «рифмы на случай» сохраняют интерес и тогда, когда сам случай уходит в прошлое. И я стал обзаводиться архивом подобных версификаций.

Со временем из них сложилось три книжицы, выпущенных издательством Уральского университета: «В своем кругу» (2010), «Второй состав» (2017), «Третий том» (2022). Высказываемые стихами характеристики и соображения позволяют «в ракурсе юмора и иронии» увидеть картину разнообразной культурной жизни Большого Урала и, стало быть, по-своему продолжают мою критическую практику. Тем самым рифмованные эти столбцы опровергают распространенное представление о зоилах, которые потому и занимаются критическим злопыхательством, что сами и двух строк зарифмовать не способны.

❑

ЗЛОБА ДНЯ И ДОБРОТА ЛЕТ

У языка, на котором мы говорим и пишем, к счастью для нас, так много задач и так много возможностей. Слово каждому и всем служит для общения, познания, воспитания, наслаждения. И самые большие возможности – у слова художника. Слова сказителя, рапсода, поэта. Не случайно писателя часто называют мастером слова. Вспомните, чьи примеры самого точного и выразительного словоупотребления приводятся в толковых словарях: цитаты эти не из речей политиков и не из монографий ученых – все они из отечественной поэзии и прозы.

Немцы гордятся своими философами, англичане – королевами, итальянцы – певцами и живописцами. Россия по праву гордится своими гениями слова. Литература стала у нас поистине нациюобразующей силой. Будучи главным нашим вкладом в сокровищницу мировой культуры, русская словесность аккумулировала в себе те качества и свойства, которые и обусловливают нашу национальную идентичность, то есть позволяют нам называться русскими не только в силу прописки на восьмой части земной суши. Вот почему к говорящим и думающим по-русски применимо в большей степени, чем к другим, не менее замечательным народам, суждение мыслителя Ивана Ильина: «Каждый из нас есть то, что он читает».

У словесности нашей – забот невпроворот, но и возможностей не меньше. Литература на Руси с древних лет (хотя справедливее считать – со времен ее становления) стремилась к тому, чтобы слово было ответственным, было не только буковками на бумаге, пусть и затейливыми. Не забудем, что в здешние пространства книга пришла с принятием христианства. Тем самым акцентировался ее сакральный статус. Этой ответственностью слова перед жизнью предопределена масштабность проблематики лучших отечественных произведений, их социально-этическая насыщенность, их нередко учительный пафос.

Гуманистический потенциал русской поэзии, прозы, драматургии, публицистики и, как следствие, авторитетность писательской миссии в стране во многом были обусловлены тем, что при многовековой деспотии, подчинившей себе не только политику и экономику, но и церковь, литература оставалась единственным, по сути, голосом совести, единственным выразителем национального самосознания.

И закономерно отечественная действительность побуждала мастеров слова ставить вечные русские вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?», «Когда же придет настоящий день?», «Как нам обустроить Россию?» Именно литература пыталась сформировать из населения гражданское общество. Показателен в этом плане императив, сформулированный Некрасовым: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан». Со школьной поры его зачастую трактуют как индульгенцию для не особенно искусного стихотвора, отстаивающего при этом интересы социума. Меж тем логика этих строк иная: не каждому дано быть поэтом, поэт же – гражданин по определению.

Именно гражданская страстность требовала от литераторов откликаться на злобу дня. Служителям муз что в век Радищева, что во времена Мандельштама, что в наши дни горестно было констатировать: «Мы живем, под собою не чуя страны...» И слово тех, кто при любой власти в «стране рабов, стране господ» не мог молчать, ощущая, что «чудище обло, огромно, стозевно и лаяй», помогало сохранять достоинство нации, поскольку собой удостоверяло:

> Не все разграблено, размыто, разобщено,
> не все лицом в свое корыто обращено.

Отсюда – постоянный разоблачительный импульс многих хрестоматийных произведений, оспаривающих верноподданнический дух первой части «Домостроя» («Как царя чтити»), что позволило реализм Гоголя и Лермонтова, Салтыкова-Щедрина и Островского

определить как реализм критический. Да и в последующем столетии, когда наибольшее благоприятствование десятилетиями поддерживалось для метода, который, по выкладкам А.Д.Синявского, точнее было бы именовать социалистическим не реализмом, а классицизмом, отечественная литература не могла не откликаться на самое насущное и текущее, развенчивая утопические иллюзии и побуждая действительность узреть в зеркале строк подлинную свою сущность. Ограничиваясь лишь десятком названий, только упомяну: «Мы», «Собачье сердце», «Самоубийца», «Город Градов», «Котлован», «Теркин на том свете», «Жизнь и судьба», «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», «Утиная охота».

Стимулированная внутренними и внешними обстоятельствами XX века обеспокоенность писательского слова социальным обустройством Родины затеняла собою куда более частную, казалось бы, озабоченность обустройством в нашем Отечестве семьи и дома.

У Бориса Ручьева есть написанная в середине XX века поэма «Любава», что связана с возведением в 1930-е годы Магнитогорского металлургического комбината. Главный ее герой – работающий на этой гигантской стройке Егор, чей производственный энтузиазм не позволяет ему «достатком выйти в женихи» для любезной ему Любавы. Егор строит домну, а его пассия мечтает – о доме. Автор поэмы всецело на стороне Егора. Но тот, кто читает эту поэму сегодня, не может не понимать, что домна не заменит дома.

Русский классический роман – при всех исключениях вроде «Героя нашего времени» – в своих социально-нравственных диагнозах исходил из семейных коллизий. Когда отечественная литература стала осмыслять «настоящий, не календарный Двадцатый век», домашние сюжеты отошли не на второй даже, а на третий и четвертый планы. Их передоверили юмористике, из которой вырос уникальный дар Зощенко, или массовой беллетристике типа «Вечного зова» А.Иванова, «Строговых» Г.Маркова, «Судьбы» П.Проскурина. (Попутно: и горько, и смешно вспоминать, какими раритетами еще четверть века назад были «микояновская» «Книга о вкусной и здоровой пище», «Ребенок и уход за ним» Б.Спока и «Новая книга о супружестве» Р.Нойберта).

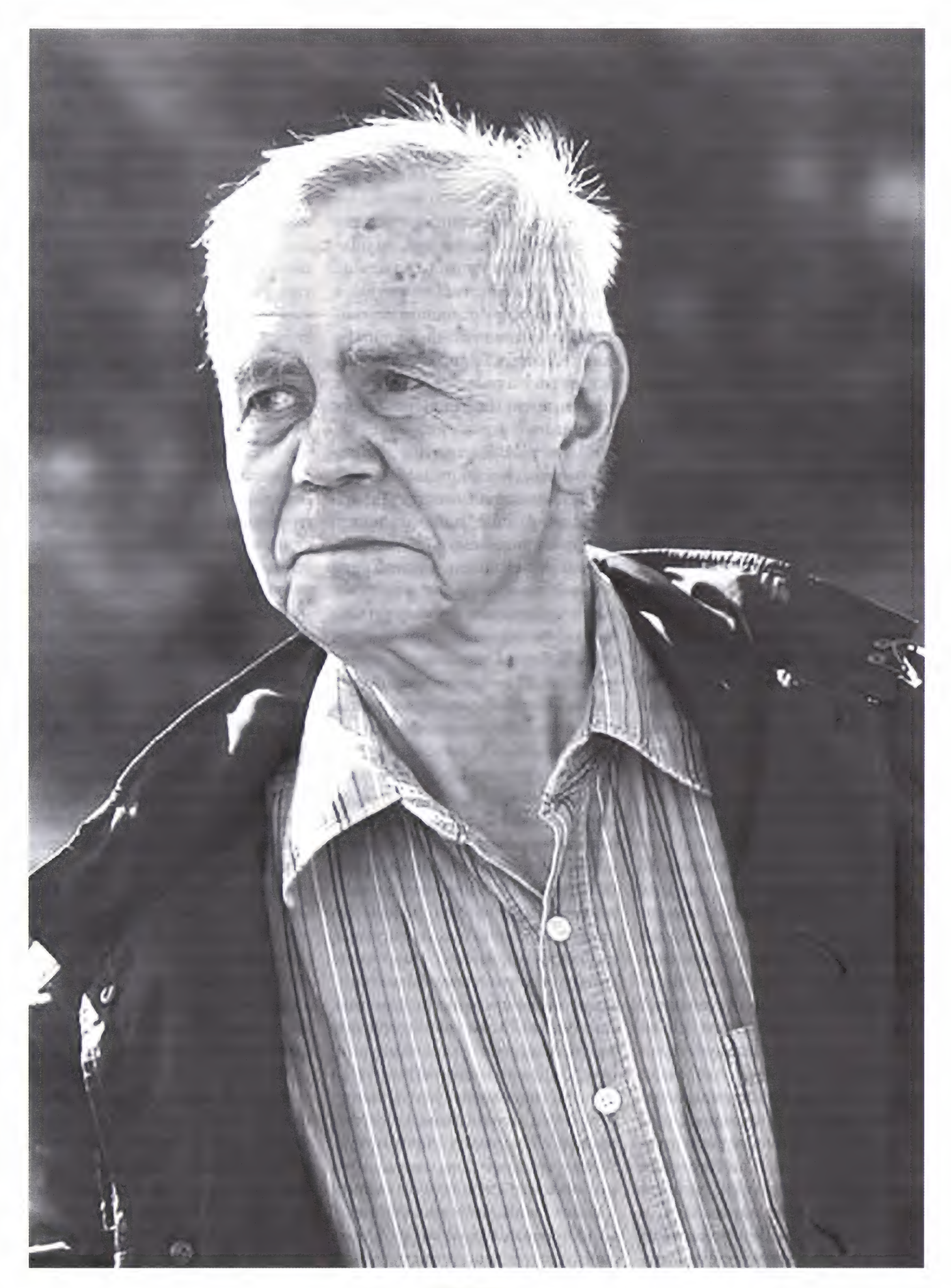
Когда на исходе 1960-х появился «Обмен» Юрия Трифонова, начавший памятный цикл его «московских повестей», автора многократно упрекали за «мелкотемье» и «бытовую приземленность» рассказанной им истории. Но, по убеждению писателя, истории семей и образуют «многожильный провод» истории страны. Эмблематичным в этой связи видится название заключительной повести указанного цикла – «Дом на набережной» (1976). Это именование, в свою очередь, перекликается с названиями написанной тридцатилетием ранее поэмы А.Твардовского «Дом у дороги» и романа Ф.Абрамова «Дом» (1978). (Да и «Тихий Дон» тут припоминается не только в силу фонетики – сошлюсь на первую его строку: «Мелиховский двор – на самом краю хутора...»)

Дороги недавней истории занимали нашу словесность – особенно в советском ее варианте – гораздо больше, нежели домашние перипетии. Да и у большинства здешних писателей и читателей своих домов в XX веке не было. Мы и ныне живем не в домах, а в квартирах: удобств в них, само собой, больше, а вот с уютом – посложнее. Ведь дом – это не столько жилплощадь, сколько семья. Это родовое целое – сменяющие друг друга поколения, олицетворяющие собой эстафету бытия, о чем с лаконичной простотой написал А.Швейцер: «Наша жизнь возникает из другой жизни, и сама порождает другую жизнь...» А квартира даже семантически – только кварта (часть) городского муравейника.

Меж тем многие из тех, кем славна русская литература недавнего столетия, были если не бесквартирными, то уж, точно, безбытными: Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Шаламов. А другие вырастали без отцов: Трифонов и Окуджава, Казаков и Шпаликов, Шукшин и Вампилов, Астафьев и Рубцов, Горенштейн и Горбовский, Лихоносов и Решетов...

Век жестоко корректировал органику человеческого бытования. Не потому ли мы в полной мере не осознали духовную значительность едва ли не лучшей русской повести последнего полустолетия, в содержании и названии которой заключен непреходящий нравственный завет, – «Живи и помни» Валентина Распутина. Ее ставили в ряд то «военной» прозы, то «деревенской», то других повестей этого прозаика, а она над любым рядом возвышается. Вот что через столетия сколь парадоксально, столь и трагично своей нравственной непреложностью перекликается с «Домостроем» Сильвестра!

«Семьестроительная» вторая часть той давней книги убеждала: «Доброй женой блажен и муж, и число дней его жизни удвоится... Хорошая



В.Распутин.

жена – благая награда, ибо делает мужа своего добродетельней. Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая – венец своему мужу». Герою повести, напечатанной в 1974 году, сибирскому мужику Андрею Гуськову повезло на такую жену. Да не повезло с веком. Сюжет произведения, приходящийся на последний год Великой Отечественной, разворачивается так, что Андрей, после ранения и госпиталя неумышленным дезертирством спасая себя от предчувствуемой смерти на передовой, тем самым обрекает на гибель остающуюся ему верной и в этих обстоятельствах жену Настену и их не родившегося первенца.

Подобно тому, как Соня Мармеладова берет на себя тяжкий грех Родиона Раскольникова и спасает его, Настена (впрочем, на мой взгляд, более убедительно прописанный характер, нежели героиня у Достоевского) своим бесповоротным выбором осуществляет покаяние за вину мужа. Он губит ее своей жизнью, тогда как она спасает его своей смертью.

Лучше всех об этой книге написал критик Валентин Курбатов: «Для того, чтобы родилась такая повесть, еще надобна была живая Родина, твердое и для всякой судьбы единое чувство народного закона, нерасшатанный быт и крепость неоспоримых законов. Писатель как будто предчувствовал наступление этического беззакония и торопился проститься с тем лучшим, что держало народ, задеть нас страдающей правотой совершающегося и перед всяким сердцем поставить вопрос – прав ли Настенин суд над собою и, значит, жив ли еще родивший ее народ...»

Остановлю не без сожаления цитирование с тем, чтобы подчеркнуть: для Распутина этот семейный и частный, на первый взгляд, в масштабах страны и военной чрезвычайности вопрос соизмерим и соотносим по актуальности и долговременности с ранее помянутыми «Что делать?» и «Как нам обустроить Россию?»

Наш современник создал книгу, неоценимую для познания русской души и русской судьбы. У России – женское лицо. Лицо пушкинской Татьяны, Наташи из «Войны и мира», Аксиньи из «Тихого Дона», героини ахматовской поэзии, а теперь вот и Настены из «Живи и помни».

Повесть В.Распутина, не сомневаюсь, знают и любят все, продолжающие читать по-русски. А еще одно издание, знаковое, по моему убеждению, не единственно для нашего разговора, еще почти не известно. Хотя отдельные его страницы, публиковавшиеся прежде в периодике (в частности, замечательной педагогической газетой «Первое сентября»), многим, полагаю, знакомы.

Людям газеты нередко приходится писать на злобу дня, «по заданию», что называется, по велению службы. А страницы книги Дмитрия Шеварова «Добрые лица» (М.: Феория, 2010) – все! – возникли по движению сердца. По любви. Не стесняющиеся своих журналистских истоков, они предстают редким в нынешние беспафосные времена примером лирической прозы. Чистой, без преувеличения, литературой, когда определение характеризует и несомненную принадлежность характеризуемого к художественной словесности, и его тональность, неизменно выверяемую тем, что в старину именовалось добротолюбием.

«Он сделал свое восхищение жанром», – так аттестуется в книге один из ее героев, последовательный оппонент казарменной педагогики Симон Соловейчик. А жанром Дмитрия Шеварова стало сочувствие. Точная настроенность на жизненную стратегию тех, о ком он пишет. А пишет он с непедалируемым восхищением о подвижниках культуры – людях, олицетворяющих ее в самых разных вариантах и обстоятельствах.

Естественно, в галерее лиц, запечатленных в книге, немало служителей муз – литераторов, художников, артистов. Но беседуя с ними или ведя речь о них, автор – в отличие от многих коллег по газетному цеху, чьи интервью и эссе, накапливаясь, тоже оборачиваются книгами, – интересуется не столько текстами, картинами, ролями своих героев (хотя и этим тоже), сколько их личностями. Составом души, если угодно. Атмосферой, обусловленной их присутствием в мире.

И то же самое заботит автора, когда он пишет о своем дедушке, своей учительнице, своей соседке, своем университетском (и моем, к слову) преподавателе философии. Не поведай о них Дмитрий Шеваров – кто бы о них знал и помнил! А знать и помнить, он убежден, надо. Ибо все его герои – при несходстве занятий и статуса, несопоставимости по известности, несовпадении во времени и месте – люди Рождества. Люди внутреннего света. Люди, не забывшие свое детство.

Детство, детский, детское – самые, пожалуй, повторяющиеся в этом томе слова. Чтобы не быть перекати-полем, надо ощущать родовую память. История для каждого из нас начинается с папы и мамы, дедушек и бабушек. Но и «группа души» определяется ими, самыми близкими. И дело тут не

только в генетике. Тепло семьи, уют домашнего очага, неразменное богатство первых лет бытия жизненно необходимы человеку на тернистом пути последующего существования.

Автору книги, как он не раз обмолвится, повезло: «У меня (редкий случай в моем поколении!) было двое дедушек и две бабушки... У большинства моих сверстников не было другого деда, кроме Чуковского». И, как знать, мера этого дарованного детством счастья (помните, у Валентина Берестова: «Любили тебя без особых причин / За то, что ты – внук, / За то, что ты – сын...») и обусловливает один из вероятных ответов на вопрос, риторически возникающий в эссе о Зинаиде Серебряковой: «Ну почему один человек рождается с солнцем в душе, и никакие беды не в силах затемнить его, а другой может всю жизнь прожить благополучной и сытой тучей?»

Наше поведение, если согласиться с физиологом и мыслителем Алексеем Алексеевичем Ухтомским, определяется «доминантой на другого», именно ей принадлежит решающая роль в формировании личности: «Мы видим во встречном человеке преимущественно то, что по поводу встречи с ним поднимается в нас... Встреча с человеком вскрывает и делает очевидным то, что до этого таилось в нас...»

Эти выкладки позволяют сказать, что, портретируя других, автор книги неумышленно создает в ней и автопортрет.

В эпоху тотального раздражения (и разложения) многих и многим он утверждает необходимость лада, возможность гармонии. Хотя бы в своем слове. В своей душе. И такая полемически акцентированная позиция – видеть во всем доброе и хорошее прежде отрицательного и плохого – не от маниловского неведения и не от душевной слабости, а от веры, пусть и кажущейся утопичной, в человечность, от надежды на то, что «добро не может душу не задеть», от убежденности, явленной отечественной классикой двух недавних столетий: «Страна темна, а человек в ней светится» (Андрей Платонов).

В книге нет персонажей, окликаемых лишь по фамилии или бюрократически обозначаемых фамилией с инициалом – все непременно с именем. И даже литературный персонаж – такой, как вампиловский Сарафанов (тот самый, что верит, будто все люди – братья и сестры), уважительно называется Андреем Григорьевичем. Мелочь, вроде бы, а и в ней проступает отношение автора к тем, о ком он пишет.

Ни одного подлеца, ни одной «нерукопожатной» особи не упомянуто на книжных страницах даже в придаточном предложении. Здесь живут мимо зла и суеты. Не то что бы не соприкасаясь с ними, но не сосредоточиваясь на их наличии. Зло опровергается производством добра (позволим себе этот техницизм, подсказанный очерком о кинорежиссере Леониде Нечаеве). Как много у нас хороших людей в Отечестве! Надо только их разглядеть, вспомнить, встретить, разговорить. И суметь о них рассказать. Тем самым оправдывая живущих на этой земле – в полном согласии со строчками другого Дмитрия – поэта Сухарева: «Чем клясть всемирный мрак, / Затеплим огонек» – / Так думает дурак. / А умным невдомек. / И легче дураку. / И в мире не темно. / И умные стучат / К нему / В окно».

Света в этой книге столько же, сколько и детства. Свет зимнего дня, перетекающий в окна домов, чтобы под вечер вернуться на улицу длинными желтыми башнями. Ясный свет глаз крестьянок на полотнах Венецианова. Торжествующая над цветом светопись фотографий Павла Кривцова. Свет зеленого абажура на столе профессора Сигурда Оттовича Шмидта. Свет Вечного огня – рядом с которым две положенные кем-то оладушки – в провинциальном Фатеже, родине Георгия Свиридова. Ровное дыхание свечи в сельском храме Покрова под Вологдой... А где свет, там и тепло. Тепло бабушкиной ладони, чуть грубоватой от натруженности. Тепло только что привезенного с хлебозавода каравая. Тепло солдатской самокрутки. Тепло рефлектора, поддерживающего возможность работать в едва отапливаемом – 1996 год – Пушкинском доме. Теплота ровного голоса Виктора Татарского, чьи пятое десятилетие длящиеся «Встречи с песней» помогают человеку увериться в своем достоинстве, пережить ночь и разжать тиски одиночества...

В «Добрых лицах» более сотни «крупных планов». Однако нет ощущения монотонности. Поскольку в каждом очерке, в каждой беседе – свой сюжет, своя внутренняя тема и, конечно же, свой «изюм» наблюдений, парадоксов, подробностей.

Вот история о писательнице Евгении Таратуте, уже фамилией расположенной к тому, чтобы заниматься детской литературой. Родилась в Париже и помнит, как немцы бомбили французскую столицу еще в ту мировую, которой суждено было стать первой. В 1939-м вместе с матерью ее сослали в Тобольск, куда – горестная фантастика отечественной реальности – в начале века уже ссылался отец Евгении и отку-



Д.Шеваров.

да она, как и ее папа, бежала, скрываясь потом в Москве то у Корнея Чуковского, то у Агнии Барто, то у Льва Кассиля (с тех пор, уточняет автор, она убеждена, что самые храбрые люди – это детские писатели).

А в 1950-м новый арест и новый срок («Пять месяцев следователь бил и пытал, чтобы я призналась в близком знакомстве с Маяковским...») Но очерк о той, кого, как и многих, век испытывал на излом, становится гимном книге, гимном стихам: «Великая русская поэзия спасла меня. Я про себя читала «Песнь о вещем Олеге» и «Во весь голос». Следователь видел, что я ухожу от него, свирепел, но ничего не мог сделать, я не слышала его... Если бы я не помнила стихов, я бы погибла». И уже почти потеряв зрение (годы и лагеря!), она радуется: «Строки Пушкина мне светят».

Вместе с героиней автор дивится тому, как при всех метаморфозах ее жизни Евгении Александровне удалось сохранить те книги, что составляли радость ее детства. И рассказ о такой судьбе побуждает задуматься (казалось бы, неожиданно) о будущем книги, которое, по многим прогнозам, прискорбно: «Ничего страшного в этом, строго говоря, нет. Просто очередная техническая революция. Возможно. Но, – спрашивает себя и нас автор, – станет ли компьютер столь же спасительным для души, как книга? Выручит ли из тьмы, когда, не дай Бог, все погаснет?»

Уже по этому пунктиру видно, что Дмитрий Шеваров, которого, как он признавался в одном из писем, волнует судьба оптимизма, далек от инфантильного благодушия. О том же свидетельствуют и другие страницы, на которые прорываются слова боли, скорби, стыда.

«За последние годы мы забыли, какими красивыми могут быть старики...»

«Улицам надо давать имена тех, чьи дела не поддаются идеологической уценке. Улицам надо давать имена врачей и учителей. Это – вечное».

«Мальчик со шпагой» (Владислава Крапивина – Л.Б.) для меня не литература, а пособие по тому, как выжить и не сломаться...»

«Отчего в нашей жизни с годами все больше ноября и все меньше мая, июня?..»

Есть среди приведенных и высказывания собеседников автора, но очевидно, что он разделяет их чувства. Во мгле безвременья и безыдеального прозябания он помнит о совете Павла Флоренского почаще смотреть на звезды и о вере Виктора Борисова-Мусатова в то, что человек носит счастье в себе самом.





Чуткий к слову другого, Дмитрий Шеваров и в собственном слове точен и выразителен. «Такт сердца» (Герцен) не позволяет ни приблизительности, ни банальности.

Вот начало очерка о той, что перевела на русский сказки Андерсена: «Анна Ганзен... Какое звонкое имя! Будто кто-то постучался с улицы в заиндевевшее окно – коротко и весело, и стекло отозвалось по комнатам: Ан-на Ган-н-зен...» А это – финальные строки рассказа о кинематографисте, жизнь которого искалечили лагеря и ссылки: «На могиле Оболенского стоит деревянный крест. У Леонида Леонидовича не было никаких званий. Ни заслуженный, ни народный. Просто Оболенский. Но и этого он себе не оставил. Словно своей громкой фамилией побоялся потревожить тишину бедного кладбища. На кресте по завещанию сделали надпись: «Инок Лаврентий, в миру Леонид».

Порою ныне кажется, будто «люди сметки и люди хватки» утвердились уже повсюду. Тем нужнее сегодня светоносные книги, где перед нами предстают люди сердца и люди веры.

❑

ЖИВЯ В ПРОВИНЦИИ, ЖИВИ В РОССИИ

Когда-то Петр Первый настаивал на том, что Россия – не просто государство, но, подобно Азии, Европе или Америке, часть света. А двумя столетиями позже другой государственный муж – Сергей Витте произвел – уж не знаю, по какой методике – подсчеты и по его выкладкам получилось, что со времен Ивана Грозного Российская империя ежедневно расширялась на 64 квадратных версты. К началу XXI столетия пространства России в сравнении с дореволюционными ее границами заметно поубавились, однако она все равно остается во многих отношениях страной больших масштабов.

География для России – и впрямь наука государственной значимости. Ведь если говорим «страна», имеем в виду, прежде всего, не столько народ, население, культуру, сколько именно место. Территорию. Зону на карте. Живущим в России, глядящим на Россию есть на что посмотреть.

Пространства в Отечестве и сегодня так много, что оно постоянно спорит со временем, поглощает его. Помните Некрасова: «В столицах шум, гремят витии, / Кипит словесная война, / А там, во глубине России, / Там вековая тишина». А в поздней эссеистике Андрея Битова встретился такой пассаж: «Если человек изобрел тюрьму, чтобы заменить пространство временем, то в России время заменено пространством».

Россия – разновременная страна. В буквальном и переносном смыслах. У нас 11 часовых поясов. Во всей Европе – три. Мы восхищены и порабощены территорией. Это наше счастье: завоеватели в прежние времена буквально терялись в этих бесконечностях, да и богатств на этой бескрайности и в ее недрах меряно-немеряно. Но это и вечная наша проблема: как нам с этой территорией сладить, как нам обустроить ее, эту бескрайность?

И в литературном отношении Россия – это тоже страна больших масштабов. Какими свершениями мы можем гордиться? Главным вкладом в мировую победу над фашизмом, полетом Гагарина и нашими литературными классиками. Толстой, Достоевский, Чехов – в сокровищнице человечества эти имена рядом с Шекспиром и Гете. Масштабнее – нет.

Но – как и в случае с территориальным размахом – наша классика задает и масштабность спроса. Есть на кого равняться, есть с кем сравнивать. Причем посмотрите, как себя позиционировали многие местности: Ростов Великий, Новгород Великий, Пермь Великая – это же не просто претенциозные топонимы. И живем мы в культуре Толстого Великого, Пушкина Великого, Великого Чехова. Это обязывает.

Литература, понятно, не признает координат локальнее национальных. И Андрей Платонов, откликаясь на сборник стихов, вышедший в одном из периферийных издательств, резонно подчеркивал, что каждая область может обеспечивать себя картофелем и прочими овощами, но не нуждается в «областных» прозаиках и поэтах. Отечественная словесность – явление целостное и единое. В ней нет сибирских, уральских, поволжских и прочих автономий. И в то же время, поскольку российские регионы столь вариативны по своим природным, климатическим, этническим, культурным и экономическим условиям, мы, говоря о российской литературе, с неизбежностью ведем речь о единстве многообразия.

Русское в художественной словесности исторически складывалось именно из московского, питерского, смоленского, уральского, донского. Этот баланс разноречия обусловлен, с одной стороны, единым литературным языком, национальными традициями, общегосударственными ценностями и приоритетами, а с другой стороны – отчетливыми особенностями географического положения, местного диалекта, быта, хозяйственного уклада, что и позволяет говорить о региональном самосознании.

Есть много Россий в России, В России несхожих Россий, – такой, кажущейся тавтологической, констатацией А.Солженицын начал одно из лагерных стихотворений. Фольклористам известна характеристика индейского племени навахо, которое было настолько бедным, что не имело ни одной песни. Наше Отечество песнями богато. Мы богаты целыми литературами. Причем в нашем разноплеменном культурном пространстве богаты не только литературами национальными. Лексемы типа «литература Сибири», «литература Урала», «Литература тюменского Севера» столь же привычны в литературоведческом и критическом обиходе, как и формулы «Рус-



Д.Н.Мамин-Сибиряк.

ская литература XVIII века» или «Литература русского Парижа».

Но эта привычность – исторически недавняя. Ей и двух веков нет, тогда как русская словесность свою биографию исчисляет тысячелетием и при этом до середины века XIX говорить о региональных вариантах поводов не давала.

В ту пору могло показаться, будто за пределами российских столиц, как и вообще в русской провинции, нет примечательных литературных явлений, поскольку нет, по словам М.Салтыкова-Щедрина, «главного условия, которое необходимо для жизни деятельной и полагающей почин, – нет самосознания». Характерная для России «власть шири» (Н.Бердяев) обернулась в истории страны жесточайшим централизмом во всех сферах жизни, в том числе и в литературе. Провинция на Руси издавна воспринималась как источник, из которого можно и нужно черпать деньги, товары, природные и людские ресурсы. Не удивительно, что в столицах (одной для бескрайнего нашего Отечества всегда было мало) и концентрировались практически все литературные силы: там жили писатели и критики, там были журнальные редакции и книжные издательства.

Не зря же молодого М.Горького наставлял Чехов: «Литератору нельзя безнаказанно проживать в провинции... Естественное... состояние литератора – это всегда держаться близко к литературным сферам, жить возле пишущих, дышать литературой. Не боритесь с естеством, покоритесь раз навсегда – и переезжайте в Петербург». Реальной была ситуация, если воспользоваться образом из давней статьи Ап. Григорьева «Москва и Петербург», гипертрофии сердца и головы за счет дистрофии остального тела.

Поэтому понятна гордость Д.Н.Мамина-Сибиряка (1852–1912), который утверждал, что именно он открыл для русской культуры целый край, называющийся Уралом, и подтвердил данные слова «Уральскими рассказами» и «уральскими романами» («Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца»). Познакомившись с ними, Чехов написал, имея в виду их героев: «Там, на Урале, должно быть, все такие: сколько бы их ни толкли в ступе, а они всё – зерно, а не мука. Когда, читая его книги, попадаешь в общество этих крепышей, – сильных, цепких, устойчивых черноземных людей, то как-то весело становится...»

Показательна, в частности, оговорка Мамина в одном из очерков: «Урал, как и вся Сибирь...» Иными словами, еще полтора столетия назад Урал воспринимался как начальная часть сибирской шири и лишь позднее стал осознаваться – во многом благодаря именно сочинениям Мамина – как отличное от других российских регионов место. (Можно в этой связи сказать и так: если Петербург для России, по Пушкину, – окно в Европу, то Екатеринбург – это дверь из Европы в Азию и из Азии в Европу).

М.Горький в поздравительной телеграмме к 75-летию Д.Н.Мамина-Сибиряка (октябрь 1912 г.) имел право написать: «Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с народом – это дает красоту и силу ему. Вы всю жизнь чувствовали творческую связь эту и прекрасно показали Вашими книгами, открыв целую область русской жизни, до Вас незнакомую нам. Земле родной есть за что благодарить Вас, друг и учитель наш».

Конечно, литературный дар Мамина, ставшего Сибиряком, был не столь внушителен, как у его великих современников – Льва Толстого, Федора Достоевского или того же Чехова. Но его талант счастливо соединял «человековедческие» способности с трезвостью социолога. Не потому ли именно в творчестве нашего земляка укреплявший тогда свои позиции российский капитализм получил сколь разностороннее, столь и выразительно-взыскательное истолкование. И, конечно же, правы нынешние публицисты и критики, когда полагают, что в современной России книги Мамина-Сибиряка актуальны не менее чем в пору своего выхода.

Не забудем и еще одно писательское имя – Федор Михайлович Решетников (1841–1871). В полной мере к самому этому автору можно отнести то, что он сказал об одном из униженных обстоятельствами своих персонажей: «Родился человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее...» Именно этому писателю, однажды прозорливо сформулировавшему: «Богатому человеку везде хорошо, а бедному везде плохо», – по убеждению М.Е.Салтыкова-Щедрина, «бесспорно первому принадлежит честь открытия драмы в жизни русского мужика. Эта драма очень большая и называется борьбою за существование». Уроженец Екатеринбурга своей прозой, верной традициям «натуральной школы» (повести «Горнозаводские люди» и «Подлиповцы», романы «Свой хлеб» и «Где лучше?»), предвосхитил ряд черт, характерных в дальнейшем для творческой практики уральских реалистов.

Опыт существования «на миру», интерес к жизневосприятию не столько индивидуальному, сколько распространенному в силу его обыденности, и, соответственно, к носителям и выразителям этой «роевой» психологии – людям, что называется, рядовым, вписывающимся в ту или иную среду без «именного» остатка, осознание важности трудового фактора в судьбе человека, трезво-взыскательное отношение автора к персонажам, какое бы сословие они ни представляли, чуткий «этнослух» – эти особенности, сближающие страницы Решетникова и Мамина-Сибиря-

ка, дадут о себе знать во многих книгах «уральского» происхождения, в следующем веке и новых исторических обстоятельствах созданных на земле, соединяющей (как и всякая граница) отечественную Европу и отечественную Азию.

По мере развития в стране газетно-журнального дела, книгоиздания и книготорговли, а также постепенного (в дооктябрьскую пору), а затем и стремительного (в 1920–1930-е гг.) изживания массовой неграмотности литературная жизнь стала – при сохранении центростремительного вектора – прорастать сквозь вековую тишину (вспомним некрасовские строки) и во глубине России.

Конечно, почти все из публиковавшегося в эти десятилетия в литературных рубриках областных изданий едва ли правомерно считать собственно литературой. На первых порах таковую замещала, скорее, литературная активность. В кружках и объединениях обсуждались рукописи их участников, знакомились с азами версификации, происходили встречи с посетившими Урал именитыми авторами (так, в 1928 году во время трехдневного пребывания Маяковского в Свердловске поэт встретился с рабкорами города и членами литературной группы при газете «На смену!»). И то, что получало доступ к печатному станку, было, как правило, местной литературной самодеятельностью. Особенно бурно подобное любительство заявило о себе на Урале, как, впрочем, и в других регионах страны, на рубеже 1920–30-х гг. Российские окраины переставали считать себя захолустьем, и созидательное движение времени здесь проступало с большей очевидностью, нежели в центре.

Для нас несомненна утопичность тогдашних упований на то, что зримая трансформация государственных, экономических и идеологических основ жизни обернется коренным преображением человеческой природы, и на роль литературы и искусства в этих глобальных проектах. Столь же очевидно ныне, какими трагедиями сопровождалось масштабное и безоглядное стремление приблизить «даль социализма». Но поэт не лукавил, когда, характеризуя атмосферу первых пятилеток, утверждал: «...не знала / Вселенная от века никогда / такой великой жажды идеала» (Е.Винокуров).

Конъюнктурных сочинений, какая б ни была эпоха, в печати всегда избыток. Оставляя таковые «за кадром», подчеркнем, однако, что многие из тогдашних публикаций, славивших социалистическую новь, подписаны ли они известными всей стране именами или же помечены фамилиями, не знакомыми даже историкам литературы, возникли не под диктовку извне, а по искренней личной потребности авторов. И сознавая, что литература тех лет – особенно если судить по тогдашним изданиям – не сказала многое из того, о чем поведали публикации перестроечной поры, согласимся, тем не менее, с тем, что и без запечатлевшегося в советских публикациях той поры эти десятилетия не представить и не понять.

Масштабность выдвинутых эпохой планов поражала и воодушевляла тем более, чем зримее становились и свершения. Вспомним признание персонажа одного из рассказов А.Платонова: «Работа большая, а мы ее делать будем и сами из маленьких большими сделаемся». И, пожалуй, не был фальшивым пафос слов Николая Куштума, произнесенных в 1934 году с трибуны Первого Всесоюзного съезда советских писателей: «Нам, уральцам, нет надобности выдумывать темы для стихов. Лучше того, что есть в нашей жизни, не выдумаешь. На Урале происходят героические события, которыми пронизано всякое, даже самое маленькое, будничное, на первый взгляд, дело...»

И здесь уместно сказать вот о чем. Русская литература дооктябрьской поры, осмысляя и в вершинных явлениях, и в тех, что не стали классикой, многообразные связи человека с обществом, показала напряжение духовных исканий личности и выявила насущность многих экзистенциальных проблем. Не пренебрегая этим содержательным опытом, словесность советских лет особое внимание уделила роли труда, благодаря которому многое изменялось и в действительности, и, хотелось тогда верить, в самом человеке.

Труд как ценностное мерило личности, мастерство как показатель самореализации индивида в любых социальных обстоятельствах – этот смысловой акцент особенно примечателен для литературных реалий, возникших на Урале в XX веке, будь то создания таких мастеров, как Павел Бажов или Борис Ручьев, будь то строки скромных работников литературного цеха вроде Михаила Пилипенко, автора стихов всем памятной «Уральской рябинушки», или Людмилы Татьяничевой (помните: «Когда говорят о России, / Я вижу свой синий Урал...»)

Литературный процесс второй половины XX века подтвердил правоту строк, написанных десятилетиями ранее: «Пиджак Москвы для России узок» (В.Маяковский). И ежели центр долгое время смотрел на литературу, создаваемую в областях и весях, как, по остроумному наблюдению, Онегин на Татьяну в первых главах пушкинского романа, то, начиная с «оттепельной» поры, характер отношений стал заметно меняться.

Спросим себя, кого до середины минувшего столетия знали в России из числа тех литераторов, что работали в XX веке не в окрестностях Кремля и не на брегах Невы? Того же автора «Малахитовой шкатулки» да станичника Виталия Закруткина с его «Матерью человеческой» (о Шо-

лохове – разговор особый: свою Вешенскую он сделал донским филиалом столицы). А в последующие десятилетия всесоюзно известными стали А.Вампилов и В.Распутин из Иркутска, В.Астафьев и М.Тарковский из Красноярского края, уральцы В.Крапивин и Н.Коляда, воронежец Г.Троепольский, Е.Носов из Курска, Н.Рубцов и В.Белов из Вологды, В.Лихоносов из Краснодара, В.Курбатов из Пскова... Ограничу перечень этой дюжиной, сознавая его пестроту и возможность удвоения.

Но не секрет ведь, что российскую, а то и больше известность этим мастерам принесли опять-таки столичные публикации их произведений или об их произведениях. Вот почему понятна мольба омича Арк. Кутилова: «Приласкай ты, столица, Пирата, / Хоть разок, хоть, разок, хоть разок...», или надежда моей землячки Л.Ладейщиковой: «Хочу, чтобы столица открыла / На дальние дали глаза». Вспомним по этому поводу драматизм литературных судеб Николая Никонова и Алексея Решетова. Оборотной стороной такого невнимания бывает провинциальная спесь, и тогда не лишенный способностей стихотворец может с прискорбной горделивостью заметить: «Я – поэт провинциальный, / Я – поэт принципиальный, / Не сменяю я Челябинск на какую-то Москву» (С.Семянников). Заслуживает в этой связи размышление драматурга Николая Коляды о Федоре Решетникове: «Одна из причин его «забытости» заключается в том, что у нас большая страна, у нас всего много...»



Ф.М.Решетников.

Повторяю, этот аспект сколь существен, столь и драматичен для творческого самочувствия и поведения многих литераторов, живущих в провинции. Региональной литературы не бывает, но бывают, как тот же Николай Никонов, региональные классики. Если бросить взгляд на восток, в сторону Тюмени, такими знаковыми фигурами видятся прозаик Константин Лагунов, драматург Зот Тоболкин, поэты Петр Суханов и Николай Шамсутдинов, документалист Анатолий Омельчук. Курган по праву гордится Виктором Потаниным, Челябинск – Ниной Ягодинцевой и Николаем Годиной. Их книги – это честная литература, свидетельствующая не только о свойствах и масштабе дара его обладателя, но и о том, что регион обладает несомненным культурным потенциалом и что не только в столицах, но и за МКАДом происходит насыщенная творческая жизнь.

И потому крайне важна роль критики и литературоведения того или иного региона. Осмысление специфики и роли регионального фактора в русской литературной реальности занимало и продолжает занимать многих гуманитариев. И отрадно, что проблемы, некогда мучившие таких «сибирских областников», как Г.Потанин и Н.Ядринцев, и таких профессионалов, как Н.Пиксанов и Н.Анциферов, стали заботой литературоведов и критиков нового времени. Это А.Казаркин в Томске, Н.Рогачева, Е.Эртнер, С.Комаров – в Тюмени, В.Лукьянин, В.Блажес, Е.Созина, О.Зырянов – в Екатеринбурге, В. и М. Абашевы в Перми...

Их труды последних десятилетий и особенно последних лет (в частности, выделю уже вышедшие два тома академической «Истории литературы Урала» и ранее изданную «Бажовскую энциклопедию») позволяют надеяться на то, что карта истории и дня текущего отечественной словесности перестает быть контурной. ❑

БАЖОВ И ШЕРГИН

Более точной, более глубокой смысловой рифмы к Бажову, чем Шергин, в русской литературе нет.

Начнем с биографических очевидностей. Словесник епархиального женского училища Павел Бажев стал писателем Павлом Бажовым. Не слишком востребованный художник-реставратор Борис Шергин оказался писателем Борисом Шергиным. При этом, где бы ни звучало в этих фамилиях ударение, они оказываются значимыми, с прозрачной для местных говоров семантикой: Бажов (или Бажев) – от глагола «*ба*жить»: колдовать, предсказывать, желать; Шергин (или Шергин) – от существительного «шереген»: говорун, краснобай. Так что к словесному художеству оба были предопределены, можно сказать, антропонимически.

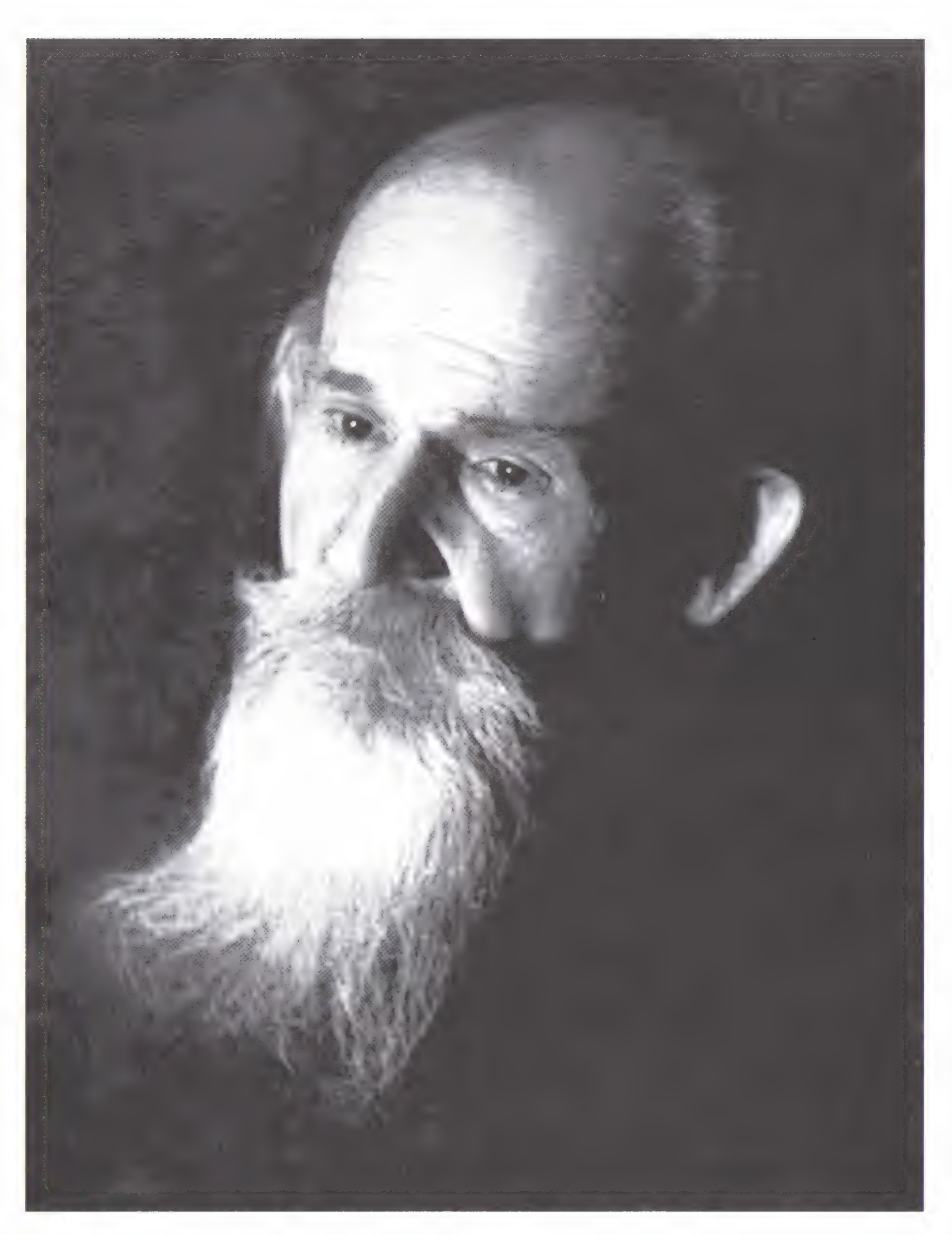
В XX веке бородатые мужи (и литераторы тут – не исключение) – редкость. Бажов почти на всех фотографиях и на всех портретах и Шергин на своих изображениях предстают не просто бородатыми, а седобородыми. Бажов, этот, по выражению Д.Бедного, «колдун уральский бородатый», выглядел дедушкой задолго до того, как таковым стал, а Шергин не случайно напоминал мемуаристам то Сергия Радонежского (Ю.Коваль), то старца Зосиму (Ф.Абрамов), то архангелогородского Гомера (Ал. Михайлов). Стерн когда-то удивлялся: «Как мог Гомер писать с такой длинной бородой...» – а героям этого сопоставления борода, что называется, показана: именно такая внешность и должна быть у авторов ими созданных произведений. Седобородием акцентированы житейский опыт и жизненная мудрость.

Почти ровесники – пятнадцатилетняя разница у уроженцев XIX века (Бажов родился в 1879-м, Шергин – в 1893-м) ныне почти не замечается, – они рано стали собирать местный фольклор. Причем эта заинтересованность в первые советские годы выглядела если не чудачеством, то чем-то факультативным. «Старое народное искусство вместе со старым бытом и укладом ушло безвозвратно из нашей жизни. На его место пришла цивилизация...» – подобное представление, зафиксированное в начале вступительной заметки А.К.Покровской к первой книге Б.Шергина, было тогда почти само собой разумеющимся. Так же, как и в случае с публикацией дебютных бажовских сказов в журнале «Красная новь» (1936, № 11) и сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале» (Свердловск, 1936), тексты Шергина были первоначально представлены фольклорными записями. Он свидетельствовал: «...это ведь запись устного репертуара моей матери». Да и Бажов утверждал, что эти его сказы записаны по памяти от В.А.Хмелинина, на что, как известно, и отреагировал Д.Бедный, воспринявший эти сказы как фольклорный первоисточник, открытый для авторской переработки.

И Шергин, и Бажов утвердили в русской литературе XX века художественный авторитет сказа. Не сказовой манеры, как у И.Бабеля или М.Зощенко, а именно сказа как жанра. В годы, когда из фольклорных жанров оставались продуктивными разве что частушка и анекдот, создания Бажова и Шергина демонстрировали качества, характерные именно для «дописьменной» поры отечественной словесности. В их сочинениях самое важное – это «живинка в слове»: народная речь на книжных страницах обнаруживает выразительность и анонимность устного сказывания. Не без лукавости притворяющийся бесхитростной фиксацией услышанного в действительности, сказ и уральца, и помора возвращает словесность в ту изначальную среду, из которой литература увела ее в сферу книжной условности. «В Архангельске, где я родился, провел молодость, юность, живо было устное народное творчество. Кругом там пели еще былины и рассказывали сказы, предания <...> Говорят, что в детстве усвоил, то остается на всю жизнь. А я усвоил в детстве подлинное, былинное звучание, сказы северные, подлинные», – это признание Шергина. А вот как комментировал свои первые сказы Бажов: «Воспроизведенные по памяти, притом почти через полвека, сказы Хмелинина, конечно потеряли ценность фольклорного документа. Неизбежно кое-что могло прийти и от других сказителей, и от производившего запись». Подобные оговорки того и другого, что они, де, взяли на себя роль прежде всего записывателей, были не столько данью скромности (хотя избыточной амбициозностью оба, в отличие от многих членов советского писательского союза, не отличались), сколько свидетельством отталкивания от сочинительства как такового, от литературности и книжности, от всего, по шергинскому выражению, «бумажного, чернильного». Сами создатели сказов, как и дорогие им персонажи их созданий, отстаивали красоту в прикладных ее проявлениях, связанных с повседневностью, а не в эстетиче-

ских концентратах, именуемых искусством. Ценя «художество, с которым можно жить», они ставили на искусность, не совместимую с искусственностью.

И поморы, живущие в сказах Шергина рекой и морем, и уральцы, породненные в сказах Бажова с горой и ее дарами, воспринимают свой вседневный труд не как повинность или зарабатывание на жизнь – он им дорог, прежде всего, творческим началом, он их одаряет сердечной радостью. Они – мастера своего дела, и трудовая этика у них породнена с эстетикой. Воспринимая работу на верфи как «художество», пожилой кораблестроитель в сказе Шергина говорит ученику: «Наш брат думает топором. <...> Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она как перо лебединое. Погладишь – рука как по бархату катится» («О кормщике Маркеле Ушакове»). А вот какой творческой гордостью, единящей рассказчика с персонажами, исполнен зачин самого известного бажовского сказа: «Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт – выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходящие. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло» («Каменный цветок»).

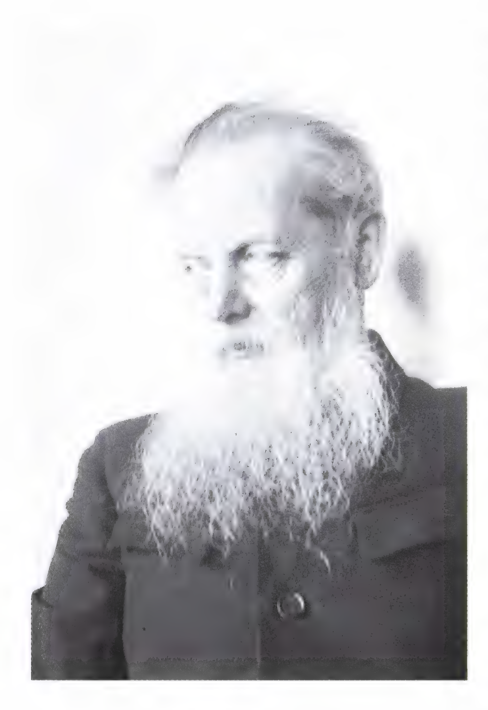


Б.В.Шергин.

И свои собственные создания сказители воспринимали в такой же неразрывности художественного и жизненного. Еще в 1946 г. В.Перцов отмечал диалектику жанра, когда подчеркивал, что «сказы П.П.Бажова не фольклор, но нельзя ни понять, ни оценить их по-настоящему вне связи с фольклором...» Вместе с тем известно, что образ Хозяйки Медной горы имеет литературную предшественницу – Горную деву из новеллы «Руненберг» (1802) немецкого романтика Л.-И.Тика. В книге Ю.Шульмана о Шергине «Запечатленная душа» (М., 2003) развернуты примеры того, как его герой и земляк «раскнижнивал» литературные сюжеты, переводя их на язык народных преданий, и преображал фольклорные истории, творя из них балладные тексты, сохраняющие родовые черты фольклора. То, что сказывали Шергин и Бажов, не было мистификацией – это было парадоксальным и вместе с тем убедительным свидетельством исчезнувшего, казалось бы, животворения. В 1947 г. Шергин стал героем скандальной истории, вызванной тем, что у опубликованной им «копии» «Морского уставца...» не обнаружилось оригинала. Да и Бажов вспоминал: «Предполагалось "разделать" меня, как фальсификатора фольклора...» В статье, открывающей «Бажовскую энциклопедию» (2007), М.Никулина резонно подчеркнула: «Он слушал МОЛВУ, тот самый фольклор, который, по его словам, еще не устоялся, "еще не сложился в полной мере "...»

Бажов и Шергин не собирателями были, а художниками. И ко всем источникам относились не с научной скрупулезностью, а с творческой свободой, всегда открытой вымыслу и воображению. Они сами себя записали, сократив в себе эту промежуточную единицу – фольклориста. Талантом и усилиями таких уникумов, как Шергин и Бажов, и создавалось столетиями то словесное богатство, которое томится в фольклорных кладовых на правах музейных экспонатов (а музейные реликвии, известно, неприкасаемы).

Письменное по бытованию слово и того, и другого устно по сути. Написанное, а – звучит! Язык



П.П.Бажов.

здесь себя в самом прямом смысле выговаривает. И потому тут, подобно поэзии, как не менее важно, не менее содержательно, чем *что*. Читатель, пробуждая в себе слушателя, погружается в это «веселье сердечное», получая эстетическую радость в равной степени как от сюжетных, так и от языковых перипетий.

Слово в советской литературе себя обусловливало прежде всего временем. А у Шергина и Бажова оно диктуется всецело местом. Темпоральность у них редуцирована и заземлена региональным укладом. Уралец во всем: в сюжетах и обстоятельствах, характерах и судьбах, бытовых и пейзажных картинах, Бажов прежде всего уралец в слове. В словаре, в интонации. Устами Бажова, выросшего на почве уральской истории, местного быта, здешних традиций и бытовавших тут преданий, о себе ведает сам Урал – Каменный пояс во всей его «долговековой» протяженности. И то же самое – только с поправкой на Архангелогородчину – справедливо в отношении Шергина. Он сознавал, что «многие усмехнутся»: «Не велики, скажут, твои масштабы, не широки твои горизонты...» Меж тем прочными региональными «привязками» бажовские и шергинские сказы акцентируют не больше и не меньше как национальную устойчивость художественного сознания, не зависящего от «какого-то периода времени». «Глубокое, ценное слово о родимой стороне может сказать только тот человек, для которого его родина не есть “край”, а центр... Я исхожу из родимого дома в Архангельске», – это Шергин. Но в этом же был убежден и автор «Малахитовой шкатулки», с той лишь разницей, что его дом находился в Екатеринбурге, временно называвшемся Свердловском.

Уральцы живут на земле Бажова. Поморы живут на земле (и воде) Шергина. Однажды А.Битов обмолвился, что питерец – это «чуть-чуть национальность». В сказах Шергина и Бажова себя манифестируют, соответственно, поморский и уральский этнос.

Непоказной патриотизм живого слова этих кудесников, их «русская народная линия» (Шергин) – это действенная антитеза патриотизму начетническому, казенному, конъюнктурному, фарисейскому. И закономерно сказы того и другого, не предназначавшиеся, за единичными исключениями, изначально для юной аудитории, вошли в золотой фонд отечественного детского чтения.

Но любая рифма, какой бы точной она ни была, предполагает и несовпадение рифмующихся реалий, оттеняющее их неповторимость. Отличник духовной семинарии, имевший виды и на духовную академию, Бажов священником не стал, а стал деятельным практиком социалистической нови. Как журналист, а одно время и как заведующий облрлитом (то есть областной цензурой) он много лет работал, по его же выражению, «рядом с историей». У Шергина тоже были «новины» с оглядкой на календарь. Но идеалы у него были не партийные, а христианские, что особенно отчетливо обозначилось, когда опубликовали – сначала фрагментами, а потом и книгой – его «Дневник». Бажов в своих дневниковых записях мировоззренческих аспектов старался не затрагивать, равно и в сказах не касаться того, что определялось им как «религиозно-мистические мотивы». Горнему миру он явно предпочитал горный. Мир горы. И там, где у Шергина угадывается Бог, – у Бажова выведены боги, божки, тайная сила. Евангельская мифология в его сказах замещена языческой.

Если Шергин, как он сам признавался, «чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет», то Бажов ощутил себя художником на исходе шестого десятка. По-разному итожились земные дни этих мастеров. Автор «Малахитовой шкатулки», после выхода которой и принятый в Союз писателей, удостоился вскоре Сталинской премии и ордена Ленина, стал Депутатом Верховного Совета СССР, много лет руководил Свердловской писательской организацией. И когда Павла Петровича не стало, в последний путь его провожал, без преувеличения, весь город. Подобных траурных процессий в столице Урала не было и не будет. А Борис Викторович, делегат Первого съезда советских писателей, доживал свой век (он ушел 80-летним), можно сказать, в одиночестве. Почти ослепший (очень рано его «глаза начали дрейфить», плохо слышавший, с протезом вместо ноги, – он говорил о себе: «Сижу как приколоченный». А когда он умер, в прощании участвовало не более двух десятков человек, среди которых был лишь один литератор (Ю.Коваль)...

Музею Бажова – полвека. Мемориальная комната Шергина была открыта в Москве десять лет назад. А недавно (усилиями М.Ю.Шульмана) было предпринято 4-томное собрание его сочинений. Тому и другому посвящены специальные в Интернете сайты (http://www.bazhov.ru; http://www.boris-shergin.ru). Тому и другому есть памятники. Но главные им памятники – и нам, для укрепления национальной памяти, памятки – их опровергающие книжность книги. Книги, помогающие жить.

❑

ТРЕПЕТ ЖИВОГО СЛОВА: КСЕНИЯ НЕКРАСОВА

Мои стихи
иль я сама —
одно и то же, —
только форма разная.
К.Некрасова.

Этого поэта многие читатели узнали раньше, чем ее строки. Узнали благодаря посвященным ей стихам и воспоминаниям – Я.Смелякова, Л.Мартынова, К.Ваншенкина, М.Алигер, Н.Глазкова, В.Берестова, Е.Евтушенко и других. При этом мемуаристы почти непременно делали акцент на ее житейской неприкаянности, бедности, безбытности, а также на разноречивости сведений о ранней поре ее жизни. Были известны и ее портреты, созданные почти одновременно, в середине 1950-х годов, такими далекими друг от друга художниками, как Роберт Фальк и Илья Глазунов. Из фальковской серии изображений Некрасовой чаще других воспроизводится то, где запечатлена сидящая женщина, коренастую фигуру которой подчеркивает ниспадающее до полу темно-красное платье нехитрого свободного кроя. Мягко опущенные руки сложены на коленях, лицо спокойно, взгляд кроток и задумчив. Все естественно и обыкновенно, и вместе с тем ладная эта простота напоминает – дымковскую игрушку.

Портрет работы И.Глазунова, казалось бы, не имеет с фальковским ничего общего. Но это портрет той же самой личности, обнаруживающей за будничной неприхотливостью характер целеустремленный, истовый. Приближенное к зрителю лицо – ассиметричное, с крупными чертами – отмечено такой страстностью и напряженностью, что безошибочно угадывается натура сильная и глубокая. Сразу приходит на ум воскресшее в стихах Б.Слуцкого восклицание самой Некрасовой: «Какие лица у поэтов!» В отличие от версификаторов поэты обычно похожи на свои строки. О стихах Некрасовой мало сказать – своеобразны: они удивительны. И дивная их необычность обусловлена не честолюбивым авторским стремлением во что бы то ни стало выделиться среди прочих. Кажется, что ее стихи – создания того, кто первым на русской земле почувствовал в себе дар поэта.

Но у этой изумляющей своим первородством поэзии – мощные корни. Осознавая их, Некрасова напоминала, что на Руси издревле существовали «стихи без рифмы, основанные на глубокой мысли и образе, где словам тесно, а мыслям просторно», при этом она исходила из убеждения, что «нельзя поместить огромные пространства и человеческие страсти, действующие на этих огромных пространствах, в европейские рамочки рифм».

Ее стихотворные опыты побуждают вспомнить оставшуюся в черновиках «Поэтическую панораму» Н.Асеева, где, обозревая историю русской поэзии с дописьменных времен до XX столетия, автор обращает внимание на стих народный – «не размеренно-повторный, а “дышащий” весельем или гневом, удалью или унынием»:

Стих при дворе начинался с виршей,
наборщик с титлов его набирал;
изустный же стих собирался Киршей
Даниловым, — сосланным на Урал.
Стих при дворе был приятным,
полезным —
чувств верноподданных сладкий плод,
а на Урале — стих был железным,
пламенным от огневых работ.
Там трепетало живое слово
не лампадками у икон,
стих там был — кумача обнова, —
не из немецко-польских сукон.

И неслучайно именно Н.Асеев подготовил первую подборку некрасовских стихов («Октябрь». 1937, № 3), сопроводив ее благожелательным напутствием 25-летней дебютантке, двумя годами ранее приехавшей из Свердловска в Москву – «на лечение и учебу». Но последующие два десятилетия ее биографии ограничатся лишь единичными публикациями в столичной периодике («Новый мир», «Молодая гвардия», «Огонек», «Комсомольская правда»), к которым на исходе 1955 года добавится изданная при содействии и под редакцией С.Щипачева тоненькая – 34 страницы! – книжечка «Ночь на баштане». Другие ее сборники, начиная с книги 1958 года «А земля наша прекрасна!», станут уже посмертными. Последний вышел два десятилетия назад (Некрасова К. На нашем белом свете. Стихи, наброски. Воспоминания современников. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002).

Идущая не от литературы, подчеркнуто самодостаточная, поэзия Некрасовой – в кровном родстве с вольным словом народной поэзии, равно как с творениями уральских камнерезов и мастеров дымковской игрушки или таких художников, как живший на костромской земле «рыцарь сказочных чудес» Ефим Честняков, чей холст «Девушка играет на свирели», пожалуй, мог быть изобразительным аналогом ее лирики. Ощутима тут и типологическая близость к Бажову, в сказах которого литературными средствами возрождалась «долитературность». Простота ее строк – это органика первозданности и цельности, где



К.Некрасова Рисунок Р.Фалька.

все идет от непосредственности души. Души равно чистой и содержательной.

В «Поденных записях» Д.Самойлова (В 2 т. Т. 1 М.: Время, 2002. С. 265) есть такой фрагмент: «1954, 10 мая. Была К.Некрасова. Поэзия без всякого ума утомительна. Радуга не может заменить живопись, пение соловья – музыку». Сказано хотя и с явной горечью, но, по сути, точно: так поет соловей, так цветет сирень. Эффект тут не только эстетический, но и антропологический. Потому от ее строк неотрывно и все ее существование: облик, поведение, образ жизни – это органичная составляющая ее творчества. И символично, что у Некрасовой есть попытка поэмы о первобытном художнике – «Хранитель огня» (опубликована Е.Коробковой в «Тонком журнале», 2012, № 1), автобиографический характер которой несомненен.

Пафосом некрасовской поэзии стало поклонение жизни в самых разных ее проявлениях. Как много в ее стихах неба, цветов, деревьев, птиц, земного простора! Она радуется «босоногой роще», весне – «тоненькой и ломкой», «шелковой воде», винограду, что «прозрачным дождем висел на стеблях», «утренним лицам людей, идущих на работу». Умением, точнее, способностью видеть поэзию всюду она и делится в своих стихах.

Чудо бытия, его «огромная красота» открываются поэту в самых заурядных ситуациях и явлениях. Ее героиня лишена малейшей предубежденности по отношению к чему-либо (или кому-либо) на земле. Привычная для большинства иерархия, согласно которой все сущее делится на главное и второстепенное, новое и привычное, праздничное и обыденное, природное и сотворенное человеком, неведома этой поэзии – она ко всему приязненна, всему открыта.

Вот как неразрывность растительного и духовного, обусловленная целостностью мировосприятия, проявлена в стихотворении «О себе»:

Угодно было солнцу
и земле —
из желтых листьев
и росы
сверчка, поющего стихом,
на свет произвести.

А вот как в ее представлении себя обнаруживают природные истоки архитектуры Кремля: «С этих растений, наверное, / зодчие древние, / брали рисунок, когда строили /Спасскую башню. / А зубцам на кремлевской стене / форму ласточкина хвоста / дали старые мастера...» И когда она пишет: «Встретила я куст сирени в саду. / Как угодно он рос из земли, / простодушно раскинув листы. / И, как голых детей, / поднимал он цветы, / обнажений своих не стыдясь», – то это олицетворение не просто художественный троп: сирень воспринимается ею с тем же буквальным вниманием сердца, с каким реагируют на близкого человека.

Редкостное ощущение единства жизни отличает поэзию Некрасовой. У нее был замысел книги с названием «Миндаль и цемент», говорящим об органичном сопряжении природного и социального. А в рассказанной ею «Сказке» есть выразительнейшая строка: «Вот на нашем белом свете...» – и уточняющее здесь местоимение естественно для человека, открывающего вокруг себя множество сокровенных связей.

Близкое мифологическому, жизневосприятие этого «старинного ребенка» (выражение Николая Предеина) основывается именно на зоркости и цепкости взгляда, жадного до земной материи и плоти. Ее слово тяготеет к изобразительности, когда на первом плане оказываются форма и цвет. Но при этом такое «адамическое мироощущение» (А.Куляпин) через «физику», через визуальность выходит к символике и эмблематике.

В отношении к сущему Некрасова обнаруживает родство героиням Андрея Платонова – таким,



К.Некрасова. Портрет И.Глазунова.

как Ольга («На заре туманной юности») или Фро (из одноименного рассказа): «Фрося пробудилась: еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека». А в другом произведении этого художника, умевшего думать о частной и всеобщей жизни как едином целом, есть формула, с которой согласилась бы и Некрасова: «...чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно» (Такыр»).

Героиня ее стихов тоже живет подчеркнуто буднично: «Колоть дрова / привыкла я...»; «За картошкой к бабушке / ходили мы...»; «С утра я целый день стирала, / а в полдень вышла за порог / к колодцу за водой»; «Я полоскала небо в речке / и на новой лыковой веревке / развесила небо сушиться. / А потом мы овечьи шубы / с отцовской спины надели / и сели в телегу/ и с плугом / поехали в поле сеять». Но стихи свидетельствуют, что каждое утро она вставала не просто для того, чтобы стирать, сеять, заготавливать еду и топливо, но для того, чтобы – жить.

Природная «одаренность к жизни» помогла Некрасовой пронести сквозь все земные дни восхищение всегдашней новизной мира:

Каждый год
рождается вновь —
из весны,
из травы,
из небес человек.
И нет насыщения жизнью,
и хоть сто раз
на земле живи:
утоления нет рукам,
наглядения нет глазам.

И трудно поверить, что вдохновенные гимны земле и ее обитателям пел человек, не имевший собственной крыши над головой, а то и хлеба насущного. «Трудно поверить?» – удивляется в свою очередь поэт и, будто отвечая на подобную читательскую реакцию, пишет:

Почему-то первыми на ум идут печали.
Но приходит и уходит солнце,
а в конечном счете остается
солнце, утверждающее жизнь.

Пафос приятия сущего в этой лирике сколь очевиден, столь и последователен. Но обратим внимание на мимоходом, вроде бы, помянутое обстоятельство – «в конечном счете». Автор стихов, неизменно откликающихся на красоту бытия, чужд прекраснодушия. Ее откровения о земной юдоли – как стихотворные, так и прозаические – не только трогают ликующей чистотой и изначальной свежестью, но и поражают житейской прозорливостью и социальной трезвостью. Вот редкостно точная характеристика современного поэту состояния мира:

XX век
конца сороковых годов
стоял — налитый до краев
свинцовой влагою трагедий,
хотя и кончилась война.

А в другом стихотворении той же поры дан проницательный диагноз «сердечной недостаточности» переживаемой эпохи: «Быть может, непосредственность души / обильем воли заглушили». При внешней незамысловатости и кажущейся наивности эта поэзия обладает прочной нравственной основой: «Имей большое сердце, / и ты поймешь величие полей, / величие земли». Самые отвлеченные и общие понятия наполнены для поэта вполне реальным смыслом, и с не меньшей последовательностью частное, единичное сопрягается в стихах с принципиальным, основополагающим:

О! Какие тайны исцеленья
в себе скрывают русские поляны,
что, прикоснувшись к ним однажды,
ты примешь меч за них,
и примешь смерть,
и вновь восстанешь,
чтоб запечатлеть
тропинки эти
и леса,
и наше небо.

Некрасову нередко называют среди первых отечественных авторов, которые себя выразили преимущественно в свободном стихе. Ее стих действительно свободный – и в литературоведческом смысле (как верлибр), и в расширительно-образном. Он свободен не только от тех версификационных условностей, которые в регулярном стихе, основанном на принципе возвратности (повторяемости), зачастую чреваты инерционностью ожидания, – но он свободен и от рационалистического нажима верлибра, по крайней мере в том его изводе, где русские строчки выглядят не лишенными любопытства переводами с... европейского.

Кажется, что пишет она не по навыку, а по наитию, предпочитая совершенству литературной технологии совершенство души. Но когда содержание того требовало, привыкший к абсолютной раскованности стих представал в безукоризненной ритмической четкости, а блуждавшая по отдельным строчкам рифма обретала точно задаваемую позицию – как, например, в стихотворении «Песня»:

Запоет гармонь,
я взмахну платком,
небеса в глазах
голубым мотком.
А народ кругом
на меня глядит.
Голова моя
серебром блестит.

А как богата звуковая инструментовка ее стихов – она не только восполняет частое отсутствие рифменных скреп, но и фонетически подтверждает насыщенность и взаимосвязанность окружающего. Вот несколько цитат из одного стихотворения («Урал»): «Как лоскут осени, лиса / висит на кожаном ремне...») Живописная пластичность сравнения тонко поддержана звуковой пластикой. А далее: «И ели, как железные, стояли, / и хмель сучки переплетал». Уподобляясь хмелю, выделенные сочетания ненавойливо и вместе с тем очень цепко «обвивают» собою строки, убеждая в точности наблюдения. И еще там же: «Колебля хвойными крылами, / лежал Урал на лапах золотых». В самом звучании стиха «сказывается» державная мощь края, взрастившего Ксению Некрасову





(аллитерацией, к слову, отмечено и само это имя!).

Простые по «внешности», ее стихи насыщены чувством и смыслом – благодаря как раз своей выверенности. Пусть она не всегда осознается, но всегда на восприятие действует. И здесь уместно заметить, что нисколько по образу существования не походившая на «людей литературы» (у мемуаристов в избытке тому свидетельств), Некрасова над стихами работала с редкостным упорством. Ее архив, сбереженный отчасти благодаря близким актера В.Яхонтова, семья которого – как, впрочем, и А.Ахматова в эвакуационном Ташкенте, и С.Коненков, и тот же Р.Фальк – давала ей приют, впечатляет вариантами и отдельных строк, и целых стихотворений (хотя это крайне проблематизирует их публикацию, поскольку большинство созданий К.Некрасовой печаталось уже после ее смерти и выбор варианта, а порой и качество прочтения рукописного источника оказываются в зависимости от публикатора и редактора). Дарованные от рождения пристальность взгляда, чуткость слуха и отзывчивость сердца подтверждали себя в словах, отбиравшихся с требовательностью и точностью Мастера.

Меж тем литературный официоз отвергал ее строки, находя там «много инфантильной психологии» (Е.Книпович), а то и категорично квалифицируя их как «декадентское ломание под “девочку“» (А.Митрофанов), «законченный образец графомании» (А.Жаров), «кискин бред» (К.Зелинский). «Регулировщики» советского литературного процесса чувствовали, что эта поэзия первозданности объективно противостоит «бумажным цветам» версификационной гладкописи. Тем более что и в

прямых высказываниях Некрасова бросала вызов чинопочитанию. Так, рассказывают, будто однажды она пробилась на прием к секретарю Союза писателей Алексею Суркову и спросила: «Как это получается, Алексей Александрович, – почему начальство вы большое, а писатель маленький?»

Из-за неприкаянности и прижизненной невостребованности Некрасову порой сближают с неподцензурной поэзией 1950-х гг. Но и участники группы Л.Черткова (С.Красовицкий, В.Хромов, А.Сергеев), и «лианозовцы» (И.Холин, Е.Кропивницкий, Я.Сатуновский) намеренно отделяли себя от публичного литературного пространства, считая такое андеграундное существование единственно для себя в тех условиях возможным, тогда как не зараженная господствовавшей идеологией, но жившая в «советской системе координат» Некрасова хотела публикаций и общественного признания и надеялась быть поэтом, включенным в писательское сообщество. По некоторым версиям, отказ от приема в ряды Союза писателей и повлек ее скоропостижную кончину в дни, когда она обрела, наконец, собственную комнату и ожидала выхода второй своей книжечки.

Хоронили ее за счет Литфонда, а двумя годами позже как «член Литфонда» будет похоронен и Б.Пастернак – поэт совсем иной славы и принципиально другими художественными аргументами отстаивавший близкую героине этих страниц творческую позицию: мир прекрасен даже в своих случайностях. И едва ли неуместным будет отнесение к Некрасовой тех слов, что были написаны автором «Сестры моей – жизни» в 1947 году по иному адресу: «...вы – инородное тело, органическое явление природы (значит, поэзии) среди неорганического, но организованного мира. Организованный мир вечно уничтожает органический. Организованный мир нюхом чует противоположность себе (чем бы она ни прикрывалась) и норовит все органическое уничтожить...» (см.: Чуковская Л. Из дневниковых записей. Литературное обозрение. 1990 № 2, с. 93).

На мраморной плите колумбария Донского кладбища в Москве, где покоится урна с прахом Некрасовой, над именем и годами ее присутствия на земле вместо фотографии воспроизведены ее строки. Точнее – начальная страница ее первой книги:

Мои стихи...
Они добры и к травам.
Они хотят хорошего домам.
И кланяются первыми при встрече
с людьми рабочими.

Мои стихи...
Они стоят учениками
перед поэзией полей,
когда сограждане мои
идут в поля,
ведут машины.

И слышит стих мой,
как корни в почве
собирают влагу
и как восходят над землею
от корневищ могучие стволы.

□

АСТАФЬЕВ И РЕШЕТОВ: СЛОВО СБЛИЖЕНИЯ

Кому из русских литераторов, встретивших новое тысячелетие, уже поставлены памятники? Кажется, тем только, кто упомянут двумя строчками выше: Виктору Астафьеву в Красноярске и Алексею Решетову в Березниках. Но многие, к счастью, помнят этих служителей русского слова еще не монументами.

Сопоставлять, как известно, можно все со всем и каждого с каждым. Кажется, в 2010 году в Пушкинской библиотеке Перми состоялась лекция на тему «Решетов и Мамардашвили» (но почему не Платон, не Аристотель? Не знаю, легко ли мог выговорить поэт фамилию Мераба Константиновича, но я точно знаю, что вот имени Розанова он не знал – говорю об этом не в укор ему, а скорее, дивясь столь неожиданному сопряжению).

Когда возникает сопоставительная пара, важно, чтобы в сравнении была своя логика, позволяющая, во-первых, выявить основания для сравнения, во-вторых, благодаря обозначенным общностям акцентировать творческую самобытность авторов, оказавшихся рядом, и в-третьих, обнаружить в самой соотнесенности закономерности и тенденции, значимые не только для героев разговора.

При тринадцатилетней разнице в возрасте между ними Астафьева и Решетова сближает многое, очень многое.

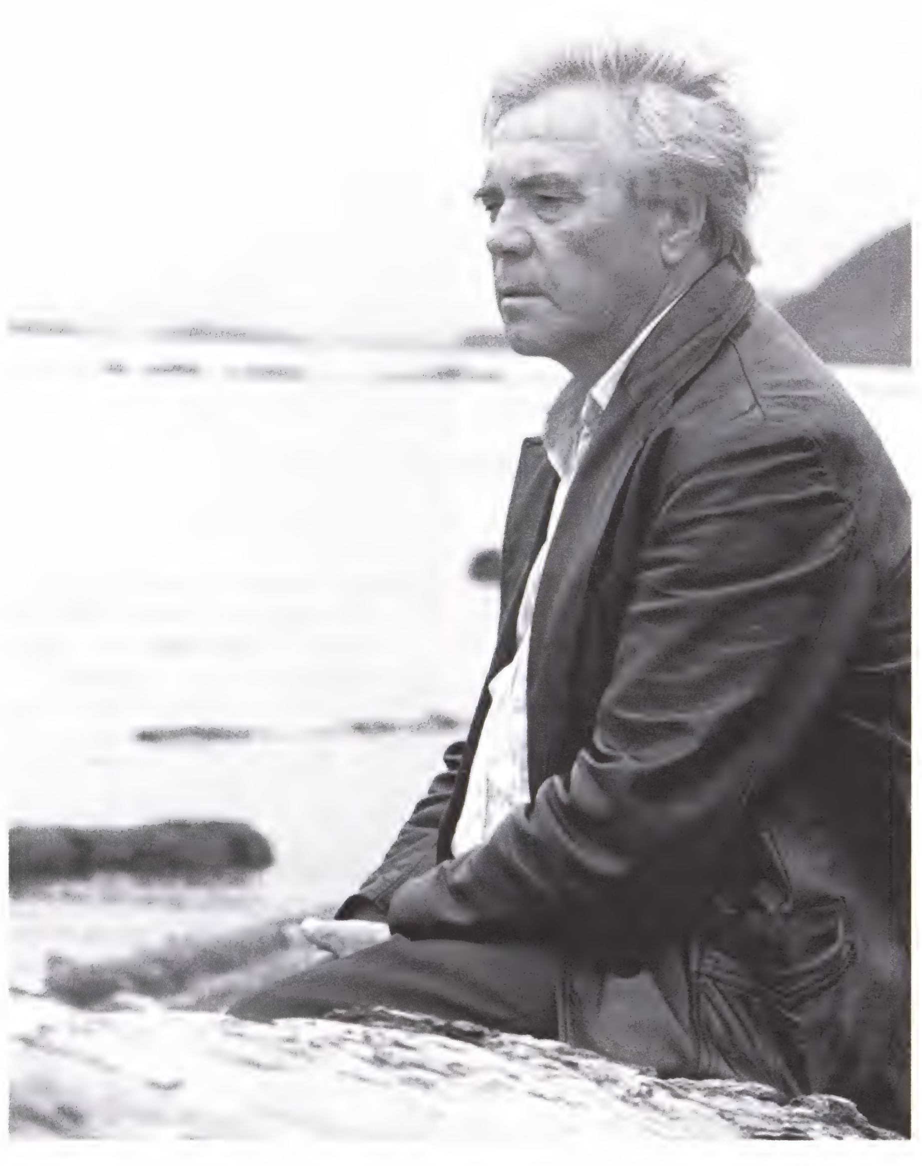
Того и другого воспитывали бабушки: один рано потерял мать, другой – отца. (И у обоих впоследствии были на попечении дети их ближайших родственников: Виктор Петрович воспитывал племянника своей жены Марии Семеновны Корякиной, а Алексей Леонидович заменил отца для дочери своего старшего брата Бетала – Оли). Война отняла у одного детские годы, у другого юность. Оба обретали знания не в вузовских аудиториях, а в университете имени М.Горького – университете жизни. Оба были оторваны от мест, где родились: Астафьев – на четверть века, Решетов – навсегда. И оба о месте рождения тосковали: Астафьев – о Енисее, Решетов – об Амуре.

Жизнь накрепко связала их с Уралом, где они очутились почти одновременно в памятном 1945-м – победном для фронтовика Астафьева и отрадном для ЧСИР (члена семьи изменника Родины) Решетова, в девятилетнем возрасте воссоединившегося, наконец, с матерью. Литературное рождение того и другого происходило в уральской глубинке – в любительских объединениях при районных газетах Молотовской тогда области: в Чусовом (или, по слову писателя, Чумовом), где в 1951 году Астафьев напечатал первый рассказ, и Березниках, где долго жил Решетов. Для обоих важнейшую роль в творческой практике сыграли местные литературные трибуны – это Пермское книжное издательство, где у Астафьева после начального сборника рассказов «До будущей весны» (1953) вышло еще два десятка изданий, а у Решетова – десять книг, включая дебютный сборник «Нежность» (1960), а также журнал «Урал», где у Астафьева состоялось пять публикаций, в том числе и ранняя повесть «Стародуб» («Урал», 1960, № 6), и где имя Решетова, начиная с 1961 года, фигурировало в содержании 29 номеров.

Оба продолжительное время жили в Перми: Астафьев с 1962 по 1968 гг., а Решетов с 1982 по 1995 гг., что засвидетельствовано мемориальными досками на доме по улице Ленина, 84, где обитал Виктор Петрович, и доме на улице 25 Октября, где жил Алексей Леонидович, а также памятной доской на улице Сибирской: «В этом здании в XX веке работали...» – и далее перечень из восьми имен, начинающийся фамилией Астафьева и заканчивающийся фамилией Решетова. Литературные самоучки, оба признательно вспоминали пермских литераторов и редакторов, способствовавших их творческому самораскрытию: Астафьев, полагавший, что «неблагодарность – самый тяжкий грех перед Богом», не упускал случая тепло отозваться о директоре местного издательства Людмиле Сергеевне Римской, редакторах Клавдии Васильевне Рождественской и Альмире Георгиевне Забзеевой и, особенно, главном редакторе Борисе Никандровиче Назаровском, а Решетов сердечно говорил о Савватии Михайловиче Гинце, редакторе его первых книг, и Надежде Николаевне Гашевой, которая редактировала «Иную речь» (1994), а также Андрее Петровиче Ромашове, познакомившем поэта с лирикой Ду Фу.

Эти сравнения можно длить и длить. Оба, скажем, не вели дневников (Астафьеву их заменила его обширнейшая переписка, а дневником Решетова стала его лирика). Оба пробовали себя на соседних литературных делянках: поэт написал автобиографическую повесть «Зернышки спелых яблок» (1963), а у прозаика есть несколько стихотворных созданий. Наконец, в честь героев этого сообщения возникли региональные литературные премии: Астафьевская в Красноярске и Решетовская «Иная речь» в Перми.

Они были знакомы с начала 1960-х годов, что засвидетельствовано архивными и мемуарными источниками. Так, в декабре 1962 года решетовский товарищ Виктор Болотов вступил в переписку с Астафьевым и, среди



В.Астафьев.

прочего, в его письмах мелькают такие строки: «Тоскующий Решетов передает всем Вам приветы», «Алексей Решетов передает Вам большой привет. Недавно написал он чудесный стих «Журавлиное настроение». Очень тонкий и точный стих». В фонде В.П.Астафьева, что сформирован в Пермском государственном архиве, есть и два эпистолярных обращения к Астафьеву Льва Давыдычева: «Много лет меня грызет совесть за то, что я мало помог Леше Решетову – замечательному человеку и поэту. Ведь до сих пор ни одна строка его не напечатана в Москве. Это просто несправедливо. Куда только я не обращался?! И везде, в конечном счете, – нуль. Посылаю тебе кучу стихов. Если, конечно, что-то тебе понравится, помоги в «Нашем сов[ременни]ке». Жалко парня. Он оригинал. Мать и бабушка хворые, да и с деньгами у него не ахти...» А через какое-то время (письма, по свидетельству публикатора, не датированы) Л.Давыдычев вновь пишет Астафьеву: «Дорогой Витя, большое тебе спасибо за участие к Леше. Хорошо, что и Викулов тут же оказался».

Есть и свидетельства самих героев этого сообщения. В позднем предисловии к книге «Не плачьте обо мне...» (Красноярск, 2000) Астафьев расскажет: «Стихи не почитают? Ну и пусть! Он <Решетов – Л.Б.> взял и повесть о детстве написал под славным названием «Зёрнышки спелых яблок», и я ее, как член редколлегии, в журнал «Уральский следопыт» предложил. После того как повесть опубликовали в свердловском журнале, случился в Перми творческий прорыв, нас с Алексеем пригласили на местное телевидение, и мы с ним красовались на экране и представляли повесть аж целых двадцать минут. Более меня на местную студию не приглашали – не тот кадр, идейно не выдержан, а вот Алексея не знаю, приглашали иль нет, ибо из шибко заидеенного города я скоро уехал, но издалека следил за судьбой и работой Решетова. Крепко стоял на ногах талантливейший поэт, прочно занимал свое поэтическое место, его простая, волшебством отдающая словесность, которую по-прежнему не очень любят и приветствуют направители морали, но обожают читатели-пермяки, имеющие вкус к слову, набирает поэтическую культуру, совершенствуется звук и слог, обогащается душа поэта».

Но личные отношения между прозаиком и поэтом складывались далеко не бесконфликтно. Астафьев, всю жизнь проживший на периферии, был крайне внимателен к авторам провинциальным или «замолчанным» (слово Г.Прашкевича о М.Шкапской), что зачастую значило одно и то же. Он многим из них помог, стараясь сделать видимыми «поэтических невидимок России» (вспомним название посмертной книги Бориса Гашева «Невидимка»): ежели не называть других, кроме Алексея Леонидовича, имен, то достаточно вспомнить возникшие по инициативе Виктора Петровича на исходе XX века «Литературные встречи русской провинции», в обиходе называвшиеся Астафьевскими чтениями.

Но при этом его не мог не удручать провинциализм прописанных в российской глубинке литераторов, пусть порой по-человечески ему не безразличных. Писатель не упускал случая категорично выступить против «стихотворного назьма», «поэтической соломы», «чечеточной поэзии», «безмятежного мурлыканья», на что, увы, щедра печатная продукция отечественных регионов. И однажды от него досталось, среди прочих пермских стихотворцев, и Решетову. Откликаясь в 1968 году в областной газете «Звезда» (номер от 10 января) на выход коллективного сборника молодых авторов «Современники», Астафьев обратил внимание на то, что “в молодежном сборнике есть стихи и старших,

профессионально работающих поэтов. Однако Домнин, Решетов представлены здесь не лучшими стихами, и ничем они не выделяются среди остальных. Мало того, два стихотворения Алексея Решетова – “Пора замаливать стихи”, и “Ах, Пушкин, Пушкин...” – пожалуй, могут соперничать с произведениями тех авторов, что из кожи лезут, лишь бы выглядеть “оригинальными”. Такое ощущение, будто оба эти стихотворения вынуты из пропыленного альбома прошлого столетия, со всем набором потускневших от времени поэтических атрибутов, начиная с “пунша” и кончая “гранитным плащом”, “Италии и Натали”, а также и “пепла златых черновиков”».

И спустя десятилетие в письме Курбан-Гали Сулейманову (от 6 декабря 1979 года) он подтвердит свое отрицательное отношение к «литературе пермской, к которой я был тоже склонен и с кровью, с муками отдирал ее с себя, как ссохшиеся кровавые бинты на ране. Думаю, что основа моих творческих сил ушла на преодоление провинциализма, и не простого, а устойчивого, имеющего основы и позиции в лице не только умерших (Реутов – Сапиро – Андриевский и т.д.), но и здравствующих Селянкина, Давыдычева и т.д. Ими создан не просто «климат», а тонус упрощенчества, заниженности художественных критериев, потому что они так и не научились работать профессионально, они так и остались любителями литературы, а проще сказать, дешевого гонорара, который растлил таких высокоодаренных людей, как Крашенинников, Решетов, Болотов и даже Домнин».

Не исключено, что поэтому и возникло представление о том, будто «непомерный гнев» (Д.Ризов) старшего стал основанием продолжительной ссоры между ними. Спустя четверть века на страницах журнала «Юность» (1993, № 1) была воспроизведена резкая сентенция Виктора Петровича по адресу «поэтов Прикамья», среди которых, по его мнению, «не выросло ни одного сколько-нибудь заметного поэта и прозаика»: «Они помешали развиться и вырасти Алексею Решетову, и он, к сожалению, этого не понимает. Думает, того, что он есть великий поэт Перми, уже достаточно. Когда он написал «Зернышки спелых яблок», свою первую прозу, я ему еще тогда говорил: «Леша, уезжай из Березников, хотя бы для начала в Пермь... «А мама? А сестра?» Так при маме да при сестре, да при дружке своем Леве Давыдычеве Леша не реализовал себя, по-моему, даже на четверть».

«В помещениях, плохо проветриваемых, создается особый провинциальный климат» (наблюдение М.Осоргина). Вот с пребыванием в этой среде и не соглашался сам Астафьев, который в одном из писем в Пермь (Т.Ф.Соколовой от 3 сентября 1998 года) хвалил себя «за то, что уехал (1969) из этого в идейной затхлости задыхающегося города и края»).

Но, к счастью, в конце 1990-х отношение Астафьева к Решетову решительно переменилось. Писатель положительно упоминает его в интервью, беседах и письмах. Так, прочитав в январе 1998 года юбилейный номер газеты «Звезда», писатель особо выделил публикацию решетовского стихотворения «Не плачьте обо мне...», восхищенно заметив при этом, что оно «украсит любую хрестоматию». Решетов посвятит это стихотворение Виктору Петровичу:

Не плачьте обо мне:
я был счастливый малый.
Я тридцать лет копал подземную руду.
Обвалами друзей моих поубивало,
А я еще живу, еще чего-то жду.

Не плачьте обо мне. Меня любили девы.
Являлись по ночам, чаруя и пьяня
Не за мои рубли, не за мои напевы.
И ни одна из них не предала меня.

Не плачьте обо мне.
Я сын “врагов народа”,
В тридцать седьмом году
поставленных к стене.
В стране, где столько лет
отсутствует Свобода,
я все еще живу.
Не плачьте обо мне.

А годом позже в очередном письме к В.Я.Курбатову (от 14 августа 1998 года) Астафьев не без гордости сообщит, упоминая при этом и жену: «Очень хорошую я книгу пробил Алексея Решетова, попрошу Маню тебе послать парочку. Сам зачитываюсь и открываю Алешу по новой...» Речь здесь о книжечке, названной по первой строке так полюбившегося Виктору Петровичу стихотворения. Издательскую ее историю приоткрывает воспоминание бывавшей на Астафьевских чтениях Нины Бойко, литератора из Новой Губахи: «...На «Встречах» была аура величайшей доброты и открытости. Перезнакомились, передружились люди из разных уголков огромной страны. Как-то вечером я зашла в гостиничный зал, а там уже большая группа писателей беседовала с Виктором Петровичем. Я встала так, чтобы видеть Астафьева и слышать, о чем он говорит. И в какой-то момент, решившись, тоже вступила в разговор.

– Так ты и есть Нина Бойко? – засмеялся и обрадовался Виктор Петрович, стал расспрашивать меня о моем творчестве, о Пермской писательской организации, о нашем замечательном поэте Алексее Леонидовиче Решетове.

– Не издают Решетова, – посетовала я. – Не нужна стала его лирика.

– Непременно нужно издать! – сказал Виктор Петрович. И попросил меня выслать какие есть публикации о Решетове, чтобы написать предисловие к книге.

Как же я рада была! Стихи Алексея Решетова ненавязчиво, но мощно противостояли тому шквалу извращенности, который уже десятилетие пытался одержать верх в русской литературе. <...> Через некоторое время Виктор Петрович разыскал Алексея Леонидовича Решетова и попросил его выслать свои стихи. Я в свою очередь отправила Астафьеву то, что обещала. И книга стихов Решетова вышла в Красноярске в серии «Поэты свинцового века». Предисловие написал Астафьев. «По-русски певучее слово», – охарактеризовал он поэзию Решетова. Прислал мне экземпляр изданной книги, написав на титульном листе: «Нина! Вот что получилось из нашей затеи. Спасибо, что помогла». Радостно мне было и удивительно, потому что затея с изданием полностью принадлежала ему, Виктору Петровичу, но он знал, что мне будет приятно, и написал «нашей»».

И еще одно воспоминание, связанное с этим изданием – красноярского филолога Г.М.Шленской, которой автор предисловия вскоре после выхода передал эту



А.Решетов.

книжечку с надписью: «Галина Максимовна! В виде приветствия посылаю Вам эту книжку замечательного поэта. Виктор Астафьев»: «А в сентябре 2001 года, когда я была у него, уже тяжело больного (повидать его мне оставалось только еще один раз), Виктор Петрович вдруг спросил, понравились ли мне стихи Решетова. И я вспомнила (чтобы убедить: да, конечно, прочла, понравились) показавшиеся мне наиболее необычными строки <... > "Во-во...", – сказал он».

Включив стихи своего младшего товарища в затеянную вместе с Романом Солнцевым серию «Поэты Свинцового века», писатель, сопроводивший этот выпуск развернутым и крайне отрадным для поэта вступительным словом, тем самым продемонстрировал изменение позиции по отношению к Решетову, который (вот отличие от Астафьева!) из-за того, что литературные амбиции никогда не ставил выше человеческих привязанностей и обязанностей, слишком долго не покидал сначала Березники, а потом и Пермь, оставаясь для многих «фигурой областного значения». Лестно характеризуя поэта, автор предисловия не скрывал обиды на то, что редчайший дар совестливости и поэтической органичности долго был читающей Россией не востребован. Виктор Петрович споспешествовал выдвижению своего протеже на Государственную премию, даже обращался по этому поводу к тогдашнему президенту, но, как он сам разочарованно констатировал, «не подействовало, не верят прислужники царевы, что в провинции может существовать и творить замечательный поэт, да еще тот, который о себе вестей не подает». К слову, примечательно, что переменой взгляда на Решетова скорректировалось и его отношение к писательской прописке «во глубине России», чему примером – строки из того же астафьевского предисловия: «И еще провинция. Много в ней, в родимой, прелести, главная из них – помогает она избавляться от суеты и сохранять цельность характера, а в случае с Алексеем Решетовым – и самобытность натуры».

В последнем своем интервью (Дмитрию Шеварову, «Урал», 2002, № 12) поэт говорил об Астафьеве так: «Я ему очень благодарен... Вообще-то он был человек строгий. Я Витю знал еще до того, как был написан «Последний поклон». Помню, прочитал рассказ «Конь с розовой гривой» и настолько очаровался, что ходил как помешаный... А потом он уехал на Высшие литературные курсы и вернулся с них уже не Витя, а как мне один наш общий приятель написал: «Это уже не Витя, а какая-то глыба, человечище...» Что-то невероятное, непредсказуемое с ним случилось буквально в год-два – в смысле высоты, красоты его прозы. Последнее письмо получил от него прошлым летом, книжки свои прислал, еще сам подписал...»

Если же соотносить биографически-личное с литературно-эстетическим, выходя к объемному восприятию творческого поведения этих художников, то крайне тезисно можно сказать так. Их близость друг другу видится в следующем:

– русскость без национального чванства, преклонение перед отечественной классикой: прежде всего Гоголь, Достоевский для Астафьева, Пушкин – для Решетова (говорят, в Перми кто-то назвал его «домашним Пушкиным»,

тогда как Астафьев однажды аттестовал его как «современного Баратынского»);

– искреннность /автобиографизм, отсутствие самосочиненности, хотя при этом у Решетова случается, что лично-житейское подчас не трансформируется в собственно-поэтическое: «Все мои стихотворения – из жизни, навеяны жизнью и в ней коренятся. Стихотворения, что называется, взятые с потолка, я ни в грош не ставлю»;

– органичная природность творческого дара – как в значении его естественности, так и в плане расположенности к миру, где человеческое связано с природным узами нерасторжимого родства: «природы ученик» – так аттестовал себя Решетов, а Астафьев, без сомнения, был в этой школе отличником;

– светодобыча в пасмурном, плохо устроенном мире – и тот, и другой «светлой силой создан»: «Из тихого света» (название астафьевской попытки исповеди) и решетовская книга стихов «Темные светы»;

– поэзия – прозой, стихами ли – была для обоих оправданием бытия: «Спасибо, Господи, что пылинкой высеял меня на эту землю» (Астафьев), «Я не был в счастливой рубашке рожден / И грезы мои не сбылись, / Но вырву свой грешный язык, если он / Начнет оговаривать жизнь. / Пускай я устал от немыслимых бед / От невыносимых тягот, / Я все-таки верю, что этот наш свет / Гораздо светлее, чем тот» (Решетов);

– способность прозреть интересное в обычном, вечное в будничном;

– совестливость и самовзыскательность: «Не выдумывайте меня, не надо. Я очень заурядный мужик <...> Чем? Почему? Заслужил я такую милость» (Астафьев в письме А.Черновой). «Мы бомжи от поэзии», «Поздно для хорошего поэта /Я узрел подземную траву и потоки косвенного света...» (Решетов);

– внепартийность литературная: за какой лагерь? – За себя! – «ни для каких союзов не гожусь, тем более для союзов, все более принимающих форму банд или шайки шпаны, исходящих словесным поносом и брызжущих патриотической слюной», – это признание Виктора Петровича мог повторить и Алексей Леонидович.

Кажется, есть соблазн сказать, что если бы Решетов писал прозу, то, скорее всего, такую, какую писал Астафьев, а когда бы Астафьев писал стихи, то, вероятно, такие, что выходили из-под пера Решетова. Но это было бы неверно. Есть между ними очевидные человеческие и творческие несовпадения. Хотя бы намечу главные:

– контактность, жизнь на миру Астафьева (достаточно вспомнить «Уху на Боганиде») и жизнь в одиночку, мимо социальности Решетова;

– гражданский человек Астафьев – частный Решетов;

– страстность первого, у которого сила возмущения уродствами национального быта соизмерима с силой восхищения чудом бытия, это был «человек без середины» весь нараспашку, и сдержанность второго;

– дар Астафьева масштабнее таланта Решетова, и Виктор Петрович раньше почувствовал необходимость не только спрашивать с себя по максимуму, но и мобилизовать все свои ресурсы на то, чтобы диалог с Родиной вести без обиняков, как право на то имеющий, а Алексей Леонидович был в этом отношении зажатей – и обстоятельствами житейскими, и литературным бытом провинции, и суженностью культурного кругозора (Высших литературных курсов в его биографии, в отличие от астафьевской, не случилось). Решетов имел право на исповедь, а Астафьев, как сформулировал М.Кураев, имел право и на проповедь.

Им было присуще исповедание веры в то, что словом можно повлиять на состояние мира и, как результат угасания этих надежд, оба мучительно сознавали тщету своих усилий по совершенствованию сущего. Вот строки прозаика:

«Я уже много-много раз ловил себя на мысли: умереть бы...»;

«...в вольную, опустевшую башку, наряду с другими “крамольными” мыслями, влезла и та, что дело наше не только бесполезное, а и греховное. Обман с помощью слова. Как в церкви, превратив ее в театр, блудными словами сотни лет обманывают, – это называется “утешают” мирян, так и мы на бумаге творим грех, изображая и навязывая людям свое представление, в большинстве своем убогое, о таких сложных материях, как жизнь, душа, мир, Бог, бесконечность, смерть, любовь, бессмертие. Но люди читают и все еще верят лукавому слову» (В.Курбатову, декабрь 1999).

А это – строфы поэта:

Прости меня, читатель милый,
Что часто я тебя стращал
Неотвратимою могилой
И очень редко утешал
Господней милостью и силой,
Прости, что я в тоске унылой
Дурное действо совершал.

Горечи, а то и отчаяния в строчках того и другого в последние годы их земной юдоли становилось все больше. И такая акцентировка была обусловлена не столько внутренне, не единственно персонально-возрастными обстоятельствами (хотя и ими тоже), но прежде всего факторами куда большего – отечественного, а то и общемирового – порядка.

Раздумывать долго не надо –
Погрязшие в блуде и зле,
Хотим мы кромешного ада,
Хоть он уже есть на земле, –

это – Решетов. А теперь вспомним горестно-усталые строки астафьевской «Эпитафии»:

Я пришел в мир добрый, родной
и любил его безмерно.
Ухожу из мира чужого,
злобного, порочного.
Мне нечего сказать вам
на прощанье.

Он сказал все своей прозой. Как и Решетов – своими стихами. Это были литературные индивидуальности, не вышедшие из народа. Они и суть народ, его в двух вариантах олицетворение, его чистое двуголосие. Его надежды и его разочарования.

Если исходить из той классификации, которую предложил Лев Толстой, разделивший писателей на две категории: одни больше своих книг, другие меньше, то Астафьев и Решетов были из того, невеликого числом, ряда пишущих, которые как личности были счастливо равны своим произведениям. Наша читательская задача – быть достойными их строк.

❑

ТАЛАНТ БЫТЬ СПОРНЫМ: НИКОЛАЙ НИКОНОВ

Вспоминается один из разговоров в екатеринбургском Доме писателя, что на Пушкинской, 12, – между постоянными его посетителями Никоновым и Дробизом. Первый – второму: «Вы, Герман, бесспорный талант», на что второй ответствовал: «А вы, Николай Григорьевич, талант спорный». Причем, что характерно, споры вокруг никоновских произведений становились тем жарче, чем отчетливей становилось представление о том, что дар этого прозаика очевидно не вмещается в региональные рамки, в каких его продолжали воспринимать не только в столице, но и в родном городе.

Выпускник местного педагогического, Никонов как литератор начинал в «оттепельную» пору произведениями, сами названия которых никакой дискуссионности не обещали. «Березовый листок», «О птицах», «Голубая озимь», «Лесные дни», «Солнышко в березах»... В этих произведениях торжествует дар сердечной расположенности к сущему. Своим дивным пониманием зверей, птиц, бабочек, цветов и деревьев писатель, убежденный, что чувство Родины начинается с чувства природы, щедро делился с нами. Его слово воссоздает живую прелесть бытия – то, что мы нередко инвентаризируем скучными ярлыками: флора, фауна, экология. Сам писатель позднее признавался: «И вышел я в писатели тоже оттуда, из природы».

Намеревавшийся в юности посвятить себя изобразительному искусству, Никонов и стал художником – но только не с помощью красок (хотя и в зрелости не расставался с мольбертом), а благодаря словам. Вот из публицистической поэмы «След рыси» одно только предложение – одно, но какое: «Художник смотрел на полузанесенные, облепленные снегом с ветровой стороны стволы берез, искал в снегу блики нежно-синего и едва фиолетового, жадный до цвета глаз его видел и желтоватое на белых, для неискушенного, стволах берез и ясно-коричневое на черной, в корявинах будто, коре комля, – он просто знал, что нет в природе ничего чисто белого и ничего черного, но есть цветное, и глядел в мрачно-зеленые венцы елей, укрывающие под свесами мглистую сказку-синеву и дальше, не оттепельное, в темной печали, серое с кобальтом и смутно шевелящееся снежинками небо, – любо было ему понимать и там чуть зеленоватый от леса, чуть-чуть коричневый в сером и вольно нависающем тон; думалось же одно: как написать это небо, как ухватить, передать его неуловимый колорит, зимний свет и это покорное зиме молчание, чтобы от картины дышало не краской, но вечной свежестью ранней зимы...»

Какая зримая пластика, сколь выразительная насыщенность письма! И прав был критик Александр Макаров, когда в середине 1960-х во внутренней рецензии на одну из никоновских книг с восхищением констатировал, что от нее «как бы струится ласковое дыхание родных лесов, сияние светлого северного неба, струится и согревает душу». И в той же рецензии критик проводил параллель между этой прозой и прозой Астафьева, причем расположенность к последнему (закрепленная и их длительным эпистолярным общением) не помешала рецензенту воскликнуть: «Куда Астафьеву до знаний Н.Никонова». Так был, кажется, впервые обозначен сюжет «Никонов и Астафьев» – весьма для сегодняшнего разговора уместный.

Виктор Петрович был старше – на шесть лет или, как сказал по другому случаю поэт, «на Отечественную войну». Но в литературу они входили соседями – по времени и месту. И, пожалуй, на старте у Николая Григорьевича были и некоторые преимущества: с рождения жизнь в областном центре, высшее образование. И природу он чувствовал и знал впрямь едва ли не лучше, чем Астафьев, и в слове был изощрен не менее, а в работоспособности еще и мог дать фору. Однако уже в 70-е тот, кто начинал в Чусовом, становился литературной величиной российского масштаба, а Никонову приходилось довольствоваться репутацией первого прозаика на Урале. Что, само собой, разъедало его крайне честолюбивую натуру.

Ему советовали: переезжай в столицу, там станешь заметнее. Это традиционный для провинциального литератора синдром «сестер Прозоровых»: в Москву! Некоторые ему поддаются и потом едва ли о том жалеют: В.Маканин – из Орска, Л.Юзефович и А.Королев – из Перми, О.Славникова и А.Матвеева – из Екатеринбурга... О тех, кто жалеет, мы знаем гораздо меньше. Никонов о перемене прописки, насколько могу судить, кажется, не думал.

Младший, подчеркну, никогда не подражал старшему – он амбициозно соревновался с ним. Сравним «Кражу» и «Мой рабочий одиннадцатый», «Пастуха и пастушку» и «Весталку», «Царь-рыбу» и тот же «След рыси». Сравним – и признаем: если из каждой пары произведений выбирать только одно, большинство из нас отдаст предпочтение названным первыми. Астафьеву то есть. (Повторю: если).

Но литература все же не спорт, и в сфере читательского внимания книги этих современников не соперничали, а соседствовали, вы-



Н.Никонов и И.Очеретина на поэтическом вечере, посвященном выходу в свет книги А.Решетова «Темные светы» (редактор Л.П.Быков).

зывая – речь об изданиях последней четверти XX века – вполне соизмеримые если не по резонансу, то по накалу – споры.

О повести «Старикова гора», правда, дискуссий не было – ее (причем цензурой уже оскопленный вариант) осудили – и где: на бюро обкома КПСС! Возглавлявший это бюро будущий президент-демократ увидел в произведении Никонова «удар, нанесенный партии в спину», поскольку писатель показал неприглядные последствия коллективизации, когда у крестьянина за годы Советской власти выветрилось по отношению к земле чувство ответственности, чувство хозяина.

Спорили о той же поэме в прозе «След рыси», автор которой свидетельствовал, что в природе все гармонизировано и уравновешено, и потому сатирически клеймил браконьеров разного номенклатурного звания и социального уровня, упуская при этом из виду, что самый большой урон травам и птицам, зверью и водам наносят не единичные особи, пусть и стреляющие с начальственных вертолетов или промышляющие в заповедных угодьях, а гидроэлектростанции, нефтепромыслы, леспромхозы.

Спорили о романе «Весталка», посвященном горестной судьбе женщины, обездоленной войной, – да еще как спорили! В двенадцатом номере «Урала» за 2020 год в содержательном своде к никоновскому 90-летию опубликованы материалы одного из обсуждений «Весталки», когда даже звучали выкрики: «Сжечь “крамольный” роман!»

Спорили о «Чаше Афродиты», названной в журнальной публикации «эротико-реалистическим романом» и задуманной как гимн земной красоте, побеждающей неприглядную отечественную действительность, однако смутившей и не пуритан «буйством плоти и голубого текстиля».

Неоднозначно был воспринят и последний его роман «Стальные солдаты» с красноречивым подзаголовком «Страницы из жизни Сталина», где предлагалась неожиданно-парадоксальная трактовка сюжета «и тираны чувствовать умеют». Велик и страшен тот, кто наделен безграничной властью, но и он с возрастом может оказаться беспомощным перед собственной природой и законами той же самой плоти...

У книг Николая Никонова, всегда ценившего «вкус жизни», повторю, не было равнодушного читателя. И не будет – если только читатели XXI века (причем не обязательно – уральцы) прочитают эти книги впервые или перечитают их из другой эпохи наново. И тогда, скорей всего, согласятся с тем, что в родном городе писателя по праву есть улица его имени, причем именно там, где прошло его детство.

Зная о своей смертельной болезни, Никонов оставил завещание: не хоронить, а развеять прах в местах, где он родился и жил. Точно хотел заново и навсегда обнять их... На открытии выставки к 90-летию со дня его рождения прозвучали его стихи: «Не хочу этой пасмурной доли – / Похоронных цветов и могил. / Я хочу быть на воле, на воле – / Вечно юным, всегда молодым». Музей писателей Урала, где была открыта эта экспозиция, расположился неподалеку от улицы Николая Никонова – всего в нескольких сотнях метров. Совсем рядом... ❑

«ЗАВТРА БУДЕТ ВЁДРО...» – ВЛАДИМИР ДАГУРОВ

Стоила эта книжечка всего ничего – шесть копеек. Тогда – цена двух трамвайных билетов или трех газетных номеров. Тираж ее, по нынешним временам впечатляющий – пять тысяч! – тогда, в 1963 году, выглядел, как и полагалось для дебютанта, скромным. В книжных магазинах Свердловска и окрестностей она исчезла мгновенно. Потому как имя автора для любителей поэзии, а таковыми в ту пору казались едва ли не все грамоту ведавшие люди, было крайне манким.

Вот что говорилось о нем в предисловии, написанном Беллой Дижур: «Владимиру Дагурову 22 года. Нынче он получает диплом об окончании медицинского института и будет... Кем же он будет?.. Еще на третьем курсе он увлекся исследовательской работой по фармакологии. Его статью о синтетических заменителях морфина напечатал солидный научный журнал. И кто знает, может быть, Владимир посвятит себя поискам новых лекарственных веществ – станет ученым-фармакологом? Но нам – людям, знающим Дагурова еще с одной стороны – как поэта, хотелось бы, чтоб он никогда не расставался с поэзией. В его стихах столько молодого задора, искренности. В них столько доброты и юношеской радости! Крепкие мускулистые строки скреплены крепкими гвоздиками рифм... Пожелаем же Володе доброго пути. Пусть он, не покидая науку, сделает и поэзию спутницей своей жизни...»

Название дебютной книжечки многое в успехе ее создателя объясняло: «Мое поколение». Стихи Дагурова озвучивали мироощущение тех, кто входил в жизнь, полный «оттепельных» надежд на очеловечивание советской цивилизации. Росшие в победную послевоенную пору и не испытавшие пока на себе чрезвычайных нагрузок истории, сверстники поэта получили шанс на счастье не в утопическом будущем, а в настоящем. Конечно, быт той поры не сопоставим с нынешним. И что особенно проступило вскоре, в представлениях тех, кто был полон радужных ожиданий, в избытке наличествовала наивность. Но «железный занавес», отделявший советских людей от остального мира, уже не был по-сталински несокрушимым. И соединяло людей – и материально, и духовно – гораздо больше, чем разъединяло. Потому-то местоимение «мы» на страницах книжечки чувствовало себя столь же ненатужно, как и авторское «я». Потому традиционные для советской поэзии гражданственные мотивы тут естественно совмещались – подчас в рамках одного стихотворения – с тем, что прежде снисходительно именовалось интимной лирикой.

До сих пор в памяти многие строчки той простодушной книжечки. Такие как эти:

Я сяду в трамвай номер 10,
доеду до Ленина, 5,
и там улыбнусь тебе, дескать,
зашел будто в гости опять...

Или – вот эти:

Небо в звездах — дырявой палаткою!
Выступаем в поход мы с утра.
Я не сплю. Я дежурный по лагерю.
Я с девчонкой сижу у костра...

За первым сборником не заставили себя ждать следующие, изданные в Свердловске и столице. Они – «Солнечный ветер» (1965, тираж десять тысяч экз.), «Гусилебеди» (1966, 30 тысяч экз.), «Дыхание» (1969, 50 тысяч!) – радовали искренностью, контактностью, душевным здоровьем, абсолютным отсутствием того высокомерия, что дает-таки о себе знать у многих хороших, а то и великих поэтов. Не было в стихах и того ораторского придыхания, которое, сказываясь в строчках самых знаменитых «шестидесятников», приподнимало их над читателями и слушателями. А была у «современного парня Дагурова» вера в то, что традиционно обещаемое синоптиками от политики «завтра будет вёдро» уже проступает в дне сегодняшнем...

В 1965 году Владимира Дагурова по рекомендации Виктора Бокова и Ярослава Смелякова приняли в Союз писателей (тогда еще СССР). Преподавая фармакологию в Москве, бывший свердловчанин там же защитил кандидатскую диссертацию. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М.Горького. Работал в «Литературной газете», «Литературной России», печатался во многих изданиях.

Потом интерес к поэзии, в том числе и к таким стихам, какие мой герой продолжал писать, стал угасать. Переменившееся время предложило иные приоритеты, с которыми приходилось считаться. Новые книги поэта получались не столь регулярными и не столь массовыми – тираж одной из недавних, изданной в Москве, где кандидат медицинских наук Владимир Дагуров обосновался на исходе 1960-х, всего 500 экземпляров. Зато многократно и в разном формате издавались его «Мурашки», где автор подхватывает ту традицию «малоформатной» по-



В.Дагуров.

эзии, благодаря которой возникли частушки и фрашки, рубаи Хайяма и гарики Губермана. Напомню несколько дагуровских.

В ТРЕТЬЯКОВКЕ

У Репина картина «Бурлаки».
Россия, ты такая же и нонеча.
Все тянут, тянут лямку мужики,
А за плечами — яхта Абрамовича!

ПРОГРЕСС

Уже повсюду Интернет,
А счастья не было и нет!

НЫТИКУ

Две руки, две ноги, оба глаза —
Быть обязан счастливым, зараза!

Дагуров часто наведывался в город своей молодости. И, конечно же, встречался с друзьями. И, конечно же, читал стихи — прежних лет и недавних. Седина уже совсем нейтрализовала бурятскую «брюнетность» его шевелюры, но глаза сияли столь же юно, как и тогда, когда в дебютной книжечке он предсказывал: «Уезжают вдаль уже не мальчики... и, конечно, мальчики навечно». При всех метаморфозах в стране, изменивших за эти десятилетия многое и многих, поэт хранил себя в том состоянии, когда взор распахнут миру и лицо, не важно, с морщинками или без, радо впитывать в себя солнечный ветер жизни.

Помнится, одна из пьес тех давних уже лет называлась «Вам 22, старики!». Жизненная биография поэта добавила к этим цифрам еще две пятерки, и до завершения в 2018-м своего земного пути верный себе Владимир Дагуров, завидно сохранял в душе и стихах готовность к тому пьянящему чувству, что воодушевляло полвека назад.

❑

НА НАЖДАЧНОМ ВЕТРУ: ВЯЧЕСЛАВ ТЕРЕНТЬЕВ

Всю обложку вышедшей годы спустя после смерти Вячеслава Терентьева третьей его книги «Звездный свет» занимает любительская фотография, на которой он, бывший студент иняза, просматривает «L' Humanite». Читающим по-французски не может не броситься в глаза анонс, выделяющий на первой странице одну из публикаций номера: «Les suicides d' Amiens» («Самоубийцы из Амьена»). Конечно, это случайность, что в руках Вячеслава, когда делался снимок, оказалась газета с таким «гвоздевым» материалом. Тем пронзительней символика этого фотопортрета: запечатленный на нем через несколько лет повесится в одном из нефтедобывающих поселков, куда его занесет всегдашняя неприкаянность. До тридцати пяти оставалось полтора месяца.

Скупые строки биографии: родился в 1940 году в селе Тюбук Челябинской области в семье геолога. С 1961 по 1964 годы учился на факультете иностранных языков Свердловского педагогического института. Работал подсобником, каменщиком, штукатуром, бетонщиком, учителем, литературным консультантом, журналистом районных газет Северного Казахстана, Свердловской области, Тюменского Севера. Стихи писал с детства. Единственная прижизненная книга – «На планете моей» (Свердловск, 1969). Его не стало 17 ноября 1975 года. Посмертно в Свердловске/Екатеринбурге изданы три книги его лирики – «Високосный год» (1981), «Звездный свет» (1994) и «Синь» (2003).

Одаренный стихотворец, уверенного пера газетчик, обаятельный эрудит, владевший французским и немецким, фонтанирующий фантазиями, доброжелательный к другим – и, одновременно, по свидетельству тех же других, бродяга, лишенный внутренней дисциплины, изгнанный из института, не расположенный к постоянству ни в работе, ни в семейной жизни, алкоголик, способный оттолкнуть от себя непрезентабельным видом и развязным поведением. Кто о нем ни вспоминает (таковых, правда, немного), непременно заводит речь про эту контрастность.

Его юность прошла в Свердловске. Тогда, в 60-е, никому не приходило на ум вести речь об «уральском поэтическом движении», какое так энергично стало позиционировать себя в начале нового столетия, хотя стихописанием по обе стороны Каменного Пояса увлекались ничуть не меньше, чем теперь. Просто «железной страны золотая пора» (Е.Блажеевский) благоволила сочинительству всюду, и эта версификационная активность не выглядела региональной литературной аномалией: едва ли не в каждом областном центре возникали творческие объединения – при журнальных и газетных редакциях, местных отделениях Союза писателей, библиотеках, вузах.

Хватало таких и здесь. Центром молодежной литературной жизни Свердловска стал организованный при газете «На смену!» клуб имени одного из ее редакторов – Михаила Пилипенко, автора стихов известной всем и ныне «Уральской рябинушки». Вячеслав Терентьев был вхож в этот круг, являвший собой, по оптимистической формуле Андрея Комлева, «заманчивую будущность Свердловска», и среди первых в нем – после Владимира Дагурова и чуть прежде Майи Никулиной – выпустил на излете «оттепельной» поры собственную книжечку. Меньше ладони, вместившая три с половиной десятка стихотворений, жизнерадостным пафосом и экспрессивным образным языком она была характерной для того времени. Показательно, что открывался сборник единственным у автора опубликованным в столичном журнале («Молодой гвардии») текстом с восклицательным названием «Счастливо, парни!»:

Им,
верящим в свои надежды,
самозабвенно молодым,
рюкзак,
почти как часть одежды,
привычен и необходим.

Проведший после школы не один сезон в геологоразведочных партиях, Терентьев и сам, как вспоминает руководитель «пилипенковского» клуба Светлана Марченко, «всегда ходил с линялым мешком-рюкзаком на плече, бытуя по принципу "все мое ношу с собой"». При этом основным содержимым этой ноши были, по-хлебниковски, блокноты и тетради стихов.

И в этих стихах – а писал он легко и много – сквозь инерцию «готовых слов», в очередной раз славящих весну, что «фейерверком врывалась в строчки», и убеждающих, что «только сущее достойно удивленья и любви», пробивается живая интонация того, кто дорожит масштабной первозданностью открывающегося перед ним мира:

И кажется,
что эта синева,
что это солнце,
эти сосны красные
самой весной
слагаются в слова,
неслыханные,
чистые,
прекрасные.

А вот, по сути, о том же, но уже через спортивную метафорику:

Рассвет на ходу зашнуровывал бутсы,
чтоб солнцем пробить над воротами сна.

Да, многим тогда (молодым – особенно) грезилось, что и впрямь



В.Терентьев.

«медленная ночь сдается, наконец» (Б.Марьев). И вместе с тем, доверяя не столько политической интуиции, сколько поэтической эмоции, стихотворцы, приветствуя обещавшую «добрый свет» и «солнечный ветер» пору, начинали догадываться, что она – недолговременна. Не потому ли в терентьевских стихах тогдашних уже лет (остававшихся, правда, в том самом рюкзаке) начинает звучать тревожная нота, которая обозначится то как «ненавязчивая печаль», то как «легкий вкус досады», то как «начало стыда»:

И стало жаль и самой малой малости
того, что нам собрать не удалось.
Конец весны,
а не начало старости,
но что-то напряглось
и порвалось,
и проступили признаки усталости,
и к горизонту подступила злость.

И даже если в стихотворении запечатлевается природная идиллия:

К самой-самой воде наклонилась ветла,
и вода под ветлою тиха и светла <...>
Влажной дымкой над речкой
струится покой.
Вот ведь день удался
погожий такой, –

все равно остается ощущение, что миг этой безмятежности – краток и что большинство дней – иной совсем погоды.

Еще недавно поэту казалось, что «не так уж плохо жить на белом свете», но все чаще стали возникать и скорбные осенние пейзажи («Опять за окном желтизной березовый траур по лесу»), и отрезвляющие констатации («...мир как праздник. Только праздник детский. А мы не дети и уже давно»), и предостерегающие самонаставления («Убереги рассудок от распада,,,»). И если приглядеться к датировке стихов в его последних двух книгах, составленных Андреем Комлевым, продолжившим заботиться о своем старшем товарище и после его ухода, то нельзя не заметить, как мировосприятие автора очевидно драматизируется. Чувствовал это и сам поэт, оттого и терзался вопросом: «Откуда эта тяжесть? Неужто сердце начало стареть?»

Конечно, он сознавал неумолимость времени, существенно корректирующего юношеские грезы: «В ночную даль от нас уходят дни, уходят из когда-нибудь в когда-то...» Некогда написавший: «С европейской прической на глобусе дремлет Россия, азиатское тело закутав в леса и меха», – поэт стал понимать и с учетом личного опыта, что живет «в большой разборчивой стране, неласковой к своим поэтам лучшим». Да, «в маленьком теплом сердце могущественной державы свирелька грустила тихо, сама не зная – о чем».

Ольга Седакова в одном из опубликованных писем проницательно заметила, что исповедальная лирика не то чтобы старит пишущего, но рано дает почувствовать груз возраста. Но и перемена общественного климата тоже провоцировала эту раннюю усталость.

Честный перед собой в большей степени, нежели перед другими, Терентьев не мог не предъявлять счет и к себе самому, когда ставил диагноз: «Мой самый старый враг, моя болезнь». Его вдова, Любовь Новак в стихах, написанных еще при жизни мужа, солидаризируется с этим объяснением: «Он в себе заблудился – хмельной поэт». Алкоголь, к которому Вячеслав рано пристрастился и стал для него той самой, иллюзорной пусть, перемычкой между почвой и небом, которую поэт, по слову одного из его ровесников, искал и не мог найти. «Ему вредна захлопнутая дверь на всех замках, засовах и щеколдах», – а водка наделяла ощущением, хотя и минутным, внутренней свободы, оптимизировала душевный настрой, неизбежно потом оборачиваясь очередным приступом похмельного отчаяния, когда граненый стакан мог вызвать горестную ассоциацию с граненым кладбищенским обелиском.

Однажды он написал: «От всех болезней далью излечусь». С юности питавший «охоту к перемене мест», Терентьев неоднократно пробовал поправить биографию географией. Камчатка, Казахстан, Нижневартовск... «Географии примесь к времени есть судьба», – сформулировано И.Бродским. Но когда «судьба утратила значенье, слова утратили звучанье», и даль «на наждачном ветру» Тюменского Севера той ноябрьской ночью была избрана совсем другая. Бесповоротная.

Тут не было попытки доказать смертью то, что не удалось доказать жизнью. Человек, помните это блоковское, есть будущее. Будущего для себя он не видел. А развернуть драматизм своей «ничейности» и творческой невостребованности в трагедию, где эффект катарсиса возникал бы именно благодаря личностному самостоянию, сил недостало.

Душа не выдержала нагрузки. «От всех больших и маленьких потерь спасаться нас пока не научили». Он не сумел себя отстоять под давлением ставшего к нему, как, впрочем, и большинству его сверстников, неласковым времени. Дар писать стихи его не оставлял до последнего дня, а вот способность противостоять превратностям фортуны, которым он и сам потакал своей, скажем так, непутевостью, в середине четвертого десятка его жизни иссякла.

В стихах, возникших на пороге тридцатилетия, Терентьев сделал беззащитное признание: «Вместо судьбы у меня – одуванчик да божья коровка, еще отражение в зеркале или заря на витрине». А на исходе 1974 года он уже обреченно спросит себя:

На что ты надеешься в гиблой ночи,
Оставшийся в зеркале солнечный зайчик?

«Ночь» фигурирует в каждом втором, если не чаще, его стихотворении. Но в стихах двадцатилетнего Славы «ночной темью» оттенялся «звездный свет». Потом пришло более зрелое понимание: «Я понял: что мне звезда с небес, когда звезда горит внутри». Когда же тепла и света не стало и внутри, он подтвердил, ошибившись на пять лет в свою пользу, прежде им и предсказанное: «талантливым алкоголиком повеситься в тридцать лет».

Похоронили Вячеслава на ханты-мансийской земле. Но со временем сквозь тот участок кладбища в Нижневартовске, где находилась его могила, запроектировали строительство железнодорожного вокзала. Перезахоронить прах поэта не сумели. Так что могилы у Терентьева нет. Как, впрочем, нет ее у Гумилева, Мандельштама, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Цветаевой. В этом он оказался со своими кумирами схож. Впрочем, как обмолвится в стихах, посвященных его памяти, Альфред Гольд (1939–1997), «душа не знает перегноя». ❑

ПИСАНО ОТ РУКИ: НИКОЛАЙ ГОДИНА

«До тридцати – поэтом быть почетно / и срам кромешный – после тридцати», – эти строки Александр Межиров написал, приближаясь к своему шестидесятилетию, тем самым поставив под вопрос их категоричность. Но вот челябинец Николай Година выпустил книгу «новых стихов», перешагнув рубеж 85-летия! – в эту пору верны писательству, согласитесь, немногие. «Давно не дерзок и не пылок, / Векую в полном меньшинстве...» При этом ничуть не похожий на патриарха или аксакала, поэт не просто подтверждал творческую состоятельность очередными изданиями, но и, вопреки приведенной самоаттестации, азартно выказывал в них способность к творческому риску, отчетливо сознавая, само собой, что тот, кто ищет, не всегда может удовольствоваться найденным.

«Тринадцать лет я спускался в забой Березовского карьера, грузил экскаватором известняк в думпкары. По дороге на работу и с работы на ходу сочинял стихи. Со дня приезда в Миасс регулярно ходил в городское литобъединение, а с 1967 года стал его руководителем», – так рассказывал сам поэт о том, как пришел в поэзию. Вторя своей биографии тогда же вышедшей книжечкой «Белое, синее», он тем самым словно подтверждал много позже написанное о нем Виктором Петровичем Астафьевым: ««Пусть слово уральца, с рабочей машины пересевшего за письменный стол, будет, как и прежде, крепкое, самобытное, и раз уж не испортили, не сгубили человека слова «рабочий поэт», пусть он сам собой и остается». Сборники, последовавшие за дебютным (а таковых получилось изрядно), убеждают, что стать собою Године удалось.

Подходящего к его стихам с расхожими мерками встречает откровенная авторская ирония:

...А критик, стило выбрав тоньше:
– О чем, – грозно спросит, – стихи?
– О том же, – скажу, – все о том же...

О том же, о жизни значит. Той, что подразумевает непридуманную человеческую судьбу, и одновременно той, синонимом которой выступает все живое, «без начала и конца». Ни объективное, ни субъективное здесь предпочтения не получают. Поэт и мир соотносятся как часть и целое: «Тут – жизнь от перового лица». А она себя по тематическим полочкам (вот – работа, вот – любовь, это – внешнее, а это внутреннее) раскладывать не склонна.

Пафос этой поэзии – именно в беспафосности. Чувство в угоду стиху не преувеличивается – оно стихом высветляется: «Художник красками живет и красками переживает». При этом он не упускает из виду:

В красивость переходит красота,
Что, по моим соображеньям, скверно.

Мировосприятие, запечатлевшееся в строчках поэта, меньше всего расположено к одномерности и однозначности. Тут столько недоговоренностей, намеков, ассоциаций, контролируемых и не очень подтекстов – что, впрочем, естественно для языка поэзии и столь же закономерно для человека, чей жизненный стаж обязывает уклоняться от всего спешного и спонтанного. Контрастные среднестатистическим параметрам координаты существования – между землей и небом – обозначены, между тем, с буквальной прямотой: «Гляжу на небо, жду отмашки...», поскольку «Закон земного тяготенья / Прижал таких, как я, шаперь». А если осознаешь, что «Глянцевый мой циферблат / Выцвел безвременно что-то», то «вино последних радостей» особенно желанно, равно как и горечь множащихся наблюдений и выводов особенно остра.

Чуждая публицистичности, эта лирика социальна в своей сути. Ибо герой стихов живет в социуме, и его мыслительные и эмоциональные реакции, какими бы «робинзонными» иной раз ни выглядели, содержат социальный импульс. Но, обозначившись строфой, а то лишь строкой, импульс этот тут же, вроде бы, сходит на нет – с тем, чтобы столь же лаконично проступить на соседней странице. Потому и создается впечатление, будто Година – поэт, прежде всего, природного мира, давно и привычно позиционирующий себя своим в среде окрестной фауны и флоры. Вот концовка одного из текстов книги «Осенины» (Челябинск, 1981):

И тихо старятся от грусти
Две ивы за крутым бугром.

А это – начало стихотворения и тем самым одной из поздних его книг «Как-то так» (Челябинск, 2016):

Холоднокровный ручей, вплетаясь в осоку,
Щуренком елозит, и птичка на вичке –
Взлетела над стороной не так уж высоко,
Где весело жить не беру я в кавычки.

Выражаясь инвентаризационно, природный фактор, акцентированный едва ли на каждой странице, создает иллюзию, будто Н.Године дорога та традиция, которая, по примеру Бунина и Пастернака, Пришвина и Заболоцко-



Н.Година.

го, побуждает множить гимны во славу дивной мистерии бытия:

Здесь по пять берез на душу населенья,
Озеро плеснуло взглядом из травы,
Полное воды и безмятежной лени,
Где и цвет, и свет кругово правы.
Где тропа утёком, ветерок воблипку,
Измельчатый до привычного песок...
Жизнь мне подарила лишнюю улыбку,
Сразу стала легче, крепче волосок.

Лишняя улыбка, и всегда уместная, особенно отрадна в обстоятельствах, когда лишено кокетства откровение: «Уже впадаю в детство иногда / И долго из него не выпадаю». Благодаря таким мгновениям и возникает оптимистический обертон: «Помазал, потёр, пошаманил – / И вроде опять на ходу». Но автор книги последовательно избегает волюнтаристского соблазна «Противоречья мира гармонией природы подменить». И, при всем понимании жизнеподдерживающих возможностей природного мира именно чувство ответственности за него мешает автору согласиться с тем, что «И всё как будто бы в порядке, / Как будто бы в порядке всё». Сам повтор успокоительной сослагательности усиливает сомнения в резоне утвердительного здесь настроя. Столь же красноречиво висящее на конце строки наречное уточнение еще в одном аналогичном признании:

Я как высший позвоночный еле
Сохраняю равновесие вокруг.

Проблемы с «равновесием вокруг» подтверждаются искренними характеристиками внутреннего состояния:

Расшатали нервную систему
Ветры вследних лет, надмеру борзые...

А мне ночами в каменном плену
Трава у дома снится... Трын-трава.

Быть человеком ныне некрасиво.
Не поменять ли в знак протеста вид?

Традиционная экологическая проблематика («Мы у них за варваров, наверно...») «закономерзностней» размыкается на экологию иного уровня, связанную уже с миром человеческим.

Век назад другой поэт с горечью восклицал:

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам, и тополям.

В есенинских строчках социальное поверялось природным. Стихи, востребованные современной эпохой, свидетельствуют о том, что флора и фауна «зацивилизованы» ныне настолько, что в этой «запредельности» недуги цивилизации становятся и недугами той среды, из которой хомо сапиенс вышел.

Изболело дерево, избылось.
Не живет, а лишь отбрасывает тень...

Из-за плохого обмена веществ
Тихо склонилась береза на прясло...

Окрест канавы, свалки, сорный лес,
Как обстановка общего распада.
Стихийная страна со мной и без
Попала сдуру в положенье пата.

Взаимопроникновением природного и человеческого читателей стихов, понятно, не удивишь. Образный язык поэзии во многом восходит к проявляющей корневое родство этих миров метафорике. Несравненным ее мастером признан Борис Пастернак, в чьих стихах себя так выразительно сказало это «вихревое сходство» всего со всем. Пастернаковские уроки дают о себе знать и в книге Н.Годины, где «лес шумит с березовым акцентом» и «на скоропись курсива похож ковыль», где «по черному вельвету поля / Жучок оранжевый пылит», где «разночинная мелочь подлеска» и «небо застиранной голубизны». И все же его метафоры во многом оспаривают «вечнодетский» взгляд на сущее, свойственный автору «Сестры моей – жизни». В пастернаковскую лирику, само собой, не мог забежать «ветхий ротвейлер с криминальным прошлым», как невозможны были строки «Напротив за решеткой дремлет банк, / Где деньги размножаются в неволе» или «Рванула перелетная попса / Из летних мест на зимнюю халтуру».

Одно из его двенадцатистрочий (оптимальный для этого автора объем) начинается строкой «Колхозный сад периода упадка...», а завершается эта частная картина патриархального запустения честным обобщением краха целой системы – уже обезжизненной, но пытающейся паразитировать на настоящем: «Пока замешивает жизнь интригу / Из будущего с прошлым пополам».

Последние его издания включают шесть-семь десятков стихотворений. Но книги не воспринимаются как тоненькие. Взглядом не пробежишь, между делом не перелистаешь. Смысловая плотность каждого текста создает ощущение объемности содержания лирического целого. А насыщенность эта обеспечивается прежде всего вместительностью авторского словаря. По приводимым мной цитатам может показаться, будто Н.Година в своей работе пользуется, подобно знаменитому современнику, личным словарем языкового расширения. Но поэт здесь слова не придумывает: его занимает не словотворчество, а словоуместие.

Не тот это случай, когда автор словечка в простоте не скажет. Слова-то у него самые простые, а то и неказистые. Каждое по отдельности себя не выпячивает, а вот в совокупности стихотворения и, тем более, книги возникает впечатление ручной работы. Слова и в «Как-то так» и в «Сумерках людей» (Челябинск, 2020) – не типографского набора, а рукописные. Ведающие о своей не родовитости, нет, но – родове.

«Впотай», «настель», «изнуда», «вточь», «нишком», «юже», «меркоть», «утёком», «воблипку» – каждое словцо из этого способного звучать экзотически ряда наверняка уже сосчитано в каком-либо из словарей российских говоров, и тот, кому претит «стихов дистиллированных вода: / Ни запаха, ни вкуса и ни цвета», мобилизует эту диалектную энергетику. Да, можно написать: «Уходят ровесники тихо...», а он пишет: «Уходят поровни нишком» – и благодаря такой лексической свежести обогащается и строчечный смысл: подобно исчезающим из обихода словам, в нетях оказываются и люди – и продлить жизнь тех и других способна только память. Память слова. Память стиха.

Давно не встречал я в стихах столь выразительной сказовости. При этом автор уберегает себя от лексической пошехонщины, какова была заметна, помнится, в стихотворной практике Ивана Лысцова, пытавшегося представить свою лирику как и впрямь словесный заповедник. Но ведь «тептярь не разумеет немтыря», и у Годины «изумчатая речь» диалектов вовсе не антитезна иным лексическим пластам.

Конечно, поэт не сомневается в том, что «писаные от руки глаголы / Насущней, чем олбанские приколы», но, как бы ни были ему дороги те слова, что подобны «бродникам без назова с горшка», ему ведома и роль в «нагло-русском словаре» «кириллического слова, маравшего забор», он может мобилизовать стиху на службу канцелярит («давно по факту все мы вроде россияне...» или «месячная норма выпала сразу в осадок»), ему удается вернуть живой блеск первозданности расхожим фразеологизмам («Осень считала цыплят, / Ловко сбиваясь со счета...»), а то и вывернуть изнанкой давний лозунг («слепо неверной дорогой иду я, товарищи»).

Уместны в его стихах и окказионализмы вроде «У них засибирило, а у нас зауралило...» или «Зримо соловея и зверея, / С головой в ботанику залез / Зиму смирно отстоявший лес...»). «Кошачьий ор» побудил на одной из страниц вспомнить «А диапазон – Уитни Хьюстон! / – На четыре с минусом октавы» – так вот, лексический диапазон этих книжечек тоже впечатляет своим продуктивным объемом.

Словом, у каждого из последних изданий поэта были, на мой вкус, основания претендовать на премию имени П.П.Бажова в номинации «Мастер. Поэзия». Но от лоббирования его интересов я по их выходе все же воздерживался. Потому что лауреатством Бажовки (как и рядом других премий) поэт Николай Година (1935 – 2021) уже по праву был отмечен. ❑

УХОДЯЩАЯ НАТУРА: БОРИС РЫЖИЙ

Эта частная жизнь простая
с вечной музыкой обнялась.
Борис Рыжий

Ни одна смерть, если не считать кончины Бродского, не отзывалась в последние десятилетия таким количеством стихов, сколько их вызвал тот непоправимый выбор, какой сделал Борис Рыжий (1974–2001) – «поэт трагических забав» (по определению Евг. Рейна). Посмертные ему посвящения напечатали «Новый мир», «Октябрь», «Звезда», «Арион», «Урал»... Из этих стихов составилась целая книга «Венок Борис Рыжему» (Екатеринбург, 2008. 120 стр.).

Меж тем, когда Борис Рыжий в 1999 году удостоился – в конкуренции с В.Соснорой, Б.Кенжеевым, Д.Новиковым – премии «Антибукер», он, по собственному признанию, был в шоке от того, что по телеканалу «Культура» объявили, что эту премию получил «некий человек 40 лет, скрывающийся под псевдонимом «Борис Рыжий» и пишущий стихи о новых русских бандитах».

Фамилия, признаем, и впрямь смахивала на воровскую кличку или на цирковой титул. И, тем не менее, когда екатеринбургская журналистка поинтересовалась, не хотел ли Борис, перед этим поведавший, что в школе и институте его фамилия была предметом постоянных насмешек, воспользоваться псевдонимом, поэт ответил: «Если б я взял псевдоним «Иванов», все бы стали говорить: «Ага, понятно, почему он взял псевдоним Иванов – у него фамилия-то Рыжий!» Смеху было бы еще больше. Я думаю, что российские читатели должны будут привыкнуть к этому имени, и лет через 50 оно уже не будет вызывать смеха».

Чтобы привыкнуть к этому имени, понадобилось времени в десять раз меньше. И хотя у него в «Дневнике» есть такая запись о жене и сыне «... подумал, что Ирина правильно сделала, не взяв мою фамилию, а Артема в школе дразнить будут», – он гордился фамилией, унаследованной от отца и деда и побуждающей вспомнить строчки из «Поэтики сюжета и жанра» О.М.Фрейденберг: «Пурпурный, рыжий, огненный – чаще означает смерть, чем жизнь; этим объясняется его принадлежность к цирковому шуту».

В стихах этого сколь рефлексирующего, столь и амбициозного автора, жившего в Екатеринбурге, есть обращенная к себе строчка: «Первый в городе поэт». Но лестная для города, эта характеристика не исчерпывала его притязаний: «Я хотел писать лучше, чем Пастернак, лучше, чем Бродский». Выбор имен здесь крайне существен. И Пастернак (чуть раньше), и Бродский (чуть позже) способствовали становлению творческой индивидуальности молодого автора – прежде всего в плане отталкивания. Но не менее важным для него было мировое признание того и другого, подтвержденное Нобелевским лауреатством.

Человек излета постсоветской формации («Мы были последними пионерами, / Мы не были комсомольцами. / Исполнилось четырнадцать – галстуки сняли. / И стали никем...»), он не хотел быть больше чем поэтом (примечательно его откровенно брезгливое отношение к автору этой формулы). Но и считать себя только поэтом (в романтической традиции, выделяющей лирика меж прочих) или только искусным сочинителем стихотворных текстов (в угоду постмодернистским нравам) он тоже не мог. От рождения не восприимчивый к риторике «шестидесятников», Рыжий оказался счастливо защищенным и от тоталитарного скептицизма, подчинившего многих его современников и ровесников. Он жил и писал всерьез, ответственно, «лица не пряча, сердца не тая», противопоставляя всё разъедающей иронии всепроникающую элегичность.

Русская поэзия – при всех исключениях (Цветаева, Гумилев, Маяковский, Ю.Кузнецов...) – склонна к элегичности. В отечественных стихах постоянен интерес к тому, что некогда называлось «страдательными состояниями души» – в них нередко варьируются настроения недосягаемости или невозвратимости счастья. Конечно, такие состояния и настроения свойственны и поэтам других весей, но в эмоциональном спектре русской лирики XIX–XX веков они, без преувеличения, доминируют. Из многих тому объяснений сошлюсь только на одно – Владимира Шахрина, лидера «Чайфа»: «В нашей стране можно сделать единственное накопление, которое не девальвируется и не будет экспроприировано, – это воспоминания».

Элегичность Рыжего отчетливо обозначилась уже в 20-летнем возрасте автора. Она выглядела явно преждевременной и потому казалась литературной. Литературность, впрочем, еще более повторяющееся и более значимое свойство поэзии, нежели элегичность. Ведь поэт только делает вид, что обращается к нам – но, говоря о нас и с нами, «естественными собеседниками» (Н.Коржавин), он находится в постоянном диалоге с другими поэтами – предшественниками и современниками. И круг поэтов-собеседников студента, а потом и аспиранта горной акаде-

мии поражает своей избирательной широтой.

Блока и Есенина называют едва ли не все, кто ведет речь о Рыжем. Но для него крайне необходимыми оказались поэты «второго ряда» – К.Батюшков («Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд / Где капля меду средь полыни...»), Я.Полонский («Люблю людей, которых больше нет...»), К.Случевский («...А если к этому прибавить то, что было, / Мечты счастливые и встречи прежних лет...»). На ноты этих строк и настраивалась его лира. Стихотворцу с такими поэтическими генами едва ли была показана прописка среди советских поэтов, даже если советская власть длилась бы и поныне. (Что не исключало его заинтересованного внимания к таким советским поэтам, как В.Луговской, Б.Корнилов или Б.Слуцкий).

А из современников Рыжий особенно выделял Е.Рейна. Этот, по выражению И.Бродского, «элегический урбанист» одно из стихотворений начал строкой «Давным-давно, пятнадцать лет назад...» У Рыжего элегическая дистанция зачастую гораздо короче. В том возрасте, в котором обычно живут если не будущим, то настоящим, он постоянно поворачивает душу во вчера – но не в советское прошлое, а в личное. «Будь что было» – вот его девиз, с которым вполне сочетается дарованное последующими годами трезвое понимание: «Даже если дело было дрянь».

Прошлое для него – как поэта – не прошло. Хотя как человек он не может не сознавать: «А жизнь проходит...» Своими стихами он воскрешает мгновения былого: «Я сам не знаю то, что знает память...»

«Подобие рая», детство пришлось на самые советские годы – потому-то в стихах запечатлелось и то, как «важно украшен мой школьный альбом / молотом тяжким и острым серпом», и то, как «под красивым красным флагом / голубым июньским днем / мы идем солдатским шагом, / мальчик-девочка идем». «Над детским лагерем пылает красный флаг...» – «Это наша с тобой остановка: / там – плакаты, а там – транспаранты...». Он понимает: «Ведь без алых ленточек, бантиков и флагов / в сей пейзаж не впишешься...».

У него нет разногласий с советской властью – ни идеологических, ни стилистических. К советскости как таковой у Рыжего нет никакого отношения. Он был настроен не политично, и не аполитично, а – поэтично. И воспевает он те годы («Восьмидесятые, усатые. /Хвостатые и полосатые...»), потому что это годы его жизни. Его юности.

Там вечером Есенина читали,
портвейн глушили, в домино играли.
А участковый милиционер
снимал фуражку и садился рядом
и пил вино, поскольку не был гадом.
Восьмидесятый год. СССР...

Мир этот остался в прошлом – и не только потому, что случился исторический слом, а потому, прежде всего, что – «семнадцать лет прошло...»

Поэзия вообще и поэзия Бориса Рыжего в частности нам показывает и доказывает, что не надо преувеличивать роль идеологии и политики. Культу идеи поэт противопоставил культ связи. Ощущение: среди своих. Что – в отечественной поэзии, где «нам светила / лишь царскосельская звезда», что – во вторчерметовском дворе на окраине Свердловска, «среди фуфаек, роб / и всяческих спецух...»

Когда Бродский отстаивал свое частное существование в мире, Рыжий утверждал себя в своем кругу, настраивая себя на «единение с веком, с людьми, / миром, городом, местной шпаною...» Стихами он себя вписывает в этот круг. Как Пушкин часто апеллировал в стихах к товарищам по лицею, так и Рыжий постоянно вспоминает приятелей детских и отроческих лет. Многократно оживают в его стихах те, с кем «вместе мы учились в школе», и друзья по «вторчерметовскому» двору, многие из которых позднее окажутся в бандитской братве и колониях, а то и – после очередной разборки – на кладбище. Этот интерес к «жизни незамечательных людей» (цитируемая в его «Дневнике» строка А.Кушнера) для него – не навеянный и вычитанный, а программный.

И есть в стихах Рыжего второй именной ряд, абсолютно контрастный первому, – из фамилий классиков отечественной и мировой поэзии, а также рядовых служителей муз. Здесь тоже фигурируют десятки имен, причем это поэтическое многолюдство – от И.Крылова и Г.Державина до А.Пурина и А.Леонтьева, от Софии Парнок и Ильи Сельвинского до Елены Тиновской и Димы Рябоконя – обусловлен не начитанностью филолога (что не редкость в сегодняшнем стихотворстве), а впечатляющей культурной памятью, генетикой его лирики, если угодно. В отклике на книгу одного из своих ровесников («Ночь» Алексея Кирдянова) Рыжий не без горечи констатирует: «Главная беда сегодняшних поэтов в том, что, любуясь собой, они не желают подыгрывать своим братьям, еще живущим или уже ушедшим». Подыгрывать в данном случае означало не подражать или вторить, а продолжать ту самую игру, целью которой остается достижение гармонии, пусть даже и ценой трагедии.

Казалось бы, альтернативные друг другу, олицетворяемые одним и другим именным рядом планы в поэтическом сознании Бориса Рыжего совмещаются. Равно открытый тому и другому, стремящийся быть своим и в первом, и во втором, герой поэта едва ли мог сказать о себе строчками В.Высоцкого:

Во мне два я – два полюса планеты,
Два разных человека...

Знаменитый бард, как чуть раньше А.Галич и чуть позже О.Чухонцев и С.Гандлевский, погружался в волны «низовой» жизни и в выразительных подробностях запечатлевал помеченные именами конкретные тамошние лица. Но у названных здесь авторов это все-таки именно творческий акт, усилия профессионала – так врач идет к больным. А у Б.Рыжего это потребность не литературная, хотя и запечатлеваемая

в слове, а человеческая и потому столь естественная и постоянная. У него получалось то, о чем грезил его поэтический тезка, когда «на ранних поездах» воодушевлял себя их атмосферой, понимая вместе с тем свою невозможность быть «всею кровию в народе».

В том-то уникальность нашего героя (но в этом, не исключено, и хотя бы частичное объяснение раннего ухода Бориса от нас), что он готов жизнь отдать за тех, кого любит. Потому и пишет о них. И чувство это равно распространяется на «простых Марусь и Вась» и на тех, кто терзается вопросом: «Скажи мне, Эвтерпа, кому диктовала ты прежде?» «Семеныч, Леха, Дюха» со вторчерметовского двора ему дороги и интересны не менее, чем «Александр, Иннокентий, Георгий», представленные на полке самых необходимых ему поэтов. Потому в его книге есть стихотворение «Иванов», обращенное к тому Георгию, что «тютчевские строки / раскрасил ярко и красиво», и есть стихотворение «Иванов», где запечатлен тот, кто, идя по кладбищу, «мурлыкает песню без слов», поскольку на песню со словами не способен, не говоря уже о словах стихов (но при этом побуждающий вспомнить столбцы Н.Заболоцкого «Ивановы»).

Искусство слова воспринималось средоточием духовной жизни России в XIX веке и почти весь XX век. Вот почему Пушкин – наше всё. А в годы, в какие выпало жить герою этих заметок, поэзия стала в обществе чем-то маргинальным («Вы – стоящие на балконе / жизни – умники, дураки. / Мы – восхода на алом фоне / исчезающие полки»). Поэт в мире оказывается среди изгоев, париев. Оставаясь при этом в аристократическом кругу собратьев по перу.

Я жил, как все — во сне, кошмаре —
и лучшей доли не желал.
В дубленке серой на базаре
ботинками не торговал,
но не божественные лики
а лица урок, продавщиц
давали повод для музыки
моей, для шелеста страниц.
Ни славы, милые, ни денег
я не хотел из ваших рук...



Б.Рыжий.

Любой собаке — современник,
последней падле — брат и друг.

Уходящая натура, лирик Рыжий не о себе пишет – он себя пишет. И запечатлевая свое существование в ландшафте городской окраины, «на задворках отчизны родной», среди «пятиэтажной России», он отчетливо сознает, что именно такая диспозиция в «стране взрослых мальчиков» (Б.Слуцкий) его душе по размеру. Тут для него как автора двойная радость – и от узнаваемости, точности воспроизведения персонажей, сюжетов, подробностей и потребностей вчерашнего дня, и от понимания того, что то время и то место нигде больше не сохранилось, как только в его памяти, в его стихах: «...с годами понимаешь, что если не опишешь свое время, то кто это за тебя сделает. Конечно, можно и соврать для "поэтичности", но это будет унижением опять-таки времени, единственного, что мы имеем, памяти».

Свою миссию поэт видит именно в этом: личную ностальгию представить как мифологию более общего порядка:

Вспомним все, что помним и забыли,
все, чем одарил нас детский бог.
Городок, в котором мы любили,
в небесах затерян городок.

Кейс Верхейл сказал, что Борис Рыжий увековечил Свердловск, как Джойс увековечил Дублин. Соглашаясь с замечательным знатоком русской поэзии, заметим, однако, что поэт, живя всю сознательную жизнь в Екатеринбурге, в стихах последовательно прописывает себя только в Свердловске. «Про-

мышленной зоны / красивый и первый певец», он сознавал себя доверенным лицом тех, кто последние стихи прочел, скорее всего, начальной школе, и потому, хотя и многократно сетовал в стихах и интервью на этот город, где «гремят «Камазы» и дымят заводы, / локальный Стикс колышет нечистоты», однако свое прошлое, равно как и посмертную «прописку», связывал именно со Свердловском. Символично (и, само собой, полемично по отношению к памятной формуле Бродского «Ниоткуда с любовью...») название большой стихотворной подборки, которая, собственно, и принесла Рыжему известность, – «From Sverdlovsk with love» («Знамя» 1999, № 4). Приметы пространства становятся приметами времени. Причем времени не столько исторического, социального, календарного, сколько лирического, экзистенциального, связанного с ощущением невозвратимости пленительной поры – между отрочеством и юностью. Пленительной – вопреки всему:

> А грустно было и уныло,
> печально, да ведь?
> Но все осветит, все, что было,
> исправит память.

Фрагменты недавнего прошлого становятся свидетельствами нынешнего состояния души. Души, не представляющей себя вне того, что, казалось бы, неумолимо и неотвратимо отнято бегом лет. То, что ускользнуло из жизни человека, проступает как длящаяся жизнь поэта: «Это частная жизнь простая / с вечной музыкой обнялась».

Для Бориса Рыжего задача поэта – расслышать, распознать эту самую «вечную музыку» в какофонии буден. «Она с небес слетает к нам – / Небесная к земным сынам» (Тютчев) – это вот ему и дорого.

Кажется, Ницше говорил о том, что высшая цель искусства – заставить Аполлона говорить языком Диониса. В стихах нашего земляка на дионисийском жаргоне изъясняется Аполлон. В предельно демократической форме предъявляет себя аристократизм поэта, тут музыка соединяет земное с небесным.

Позиция Бориса Рыжего – это позиция адвоката жизни. Пусть жизни, зачастую предстающей в формах, располагающих не к восхищению, а к возмущению. Отсюда та пронзительная жалость, то высокое сожаление, о котором поэт говорил при получении «Антибукера» («Поэт стоит не на стороне справедливости, а на стороне жалости – не сострадания, но высокого сожаления, объяснить которое, выразить можно только стихотворением. Именно поэтому, именно потому, что поэт несправедлив, нелогичен в своих привязанностях, верен музыке, слову (слово, кстати сказать, которое обыватель вряд ли считает достойным своих ушей, может быть действительно бранным) – именно поэтому поэт "всюду неуместен, как ребенок"». Отсюда наполнение его счастливой лирики чувством вины: «а жизнь, что жив, стыда полна»:

> Во всем, во всем я, право, виноват,
> пусть не испачкан братской кровью,
> в любой беде чужой, стоящей над
> моей безумною любовью,
> во всем, во всем, вини меня, вини,
> я соучастник, я свидетель,
> за все, за боль, за горе, прокляни
> за ночь твою, за ложь столетий,
> за все, за все, за веру, за огонь
> руби налево и направо,
> за жизнь, за смерть, но одного не тронь,
> а впрочем, вероятно, право,
> к чему они, за детские стихи,
> за слезы, страх, дыханье ада,
> бери и жги, глаза мои сухи,
> мне ничего, господь, не надо.

Это тот случай, когда мы понимаем: вопреки утверждению «глаза мои сухи», глаза эти, как всегда у него, – влажны. И стыд этот – не ситуационный, а экзистенциальный, сущностный, производный от самого понимания себя именно поэтом. В послевкусии таких стихов всегда сказывается то, что Ахматова определяла как «сладость бытия», но такая сладость стоит дорогого и дорого. «...Мне счастье стало в жизнь» – неслучайно Борис восхитился этими стихами Софии Парнок.

«Ни один поэт не ходил безнаказанно под звездами» – это признание чешского поэта Константина Библа (1898–1951). А ушедший из жизни в 19 лет Илья Тюрин (1980–1999) размышлял об этом более развернуто: «Трагедия человека, при условии, что он поэт, в его судьбе уже состоялась: вторжение поэзии в любую жизнь и есть трагедия человека. Поэт говорит не так, как говорит человек, – и со временем это начинает определенным образом направлять его мысли. И в конце концов поэт находится там, где человека нет. Трагедия человека заключается в недосягаемости этого там. Трагедия же поэта заключается в невозвратимости оттуда». Вот объяснение того, что случилось с человеком Борисом Рыжим в ночь на 7 мая 2001 г.

Ника Турбина покончила с собой от отчаяния (в 2014 г. вышла книга Марии Рыбаковой «Черновик человека», написанная с явной оглядкой на печальную судьбу этой девочки-вундеркинда): она ушла, потому что поэзия ее покинула. Борис Рыжий оставил нас от осознания, что он как поэт состоялся, выполнил себя, осуществился. Денис Новиков, тоже добровольно ушедший из жизни, поэт, который типологически находится между Рыжим и Гандлевским, сказал последнему, что стихи – дар свыше как «компенсация за абсолютную жизненную непригодность». У Бориса восторжествовала его абсолютная пригодность к поэзии:

> Не гляди на меня виновато,
> я сейчас докурю и усну –
> полусгнившую изгородь ада
> по-мальчишески перемахну.

Илья Сельвинский – поэт совсем другого типа сознания – сделал такую запись: «Быть поэтом – все равно, что быть горбуном. В солдаты они не годятся. И это уже на всю жизнь».

Как бы ни было жестоко для его близких и для всех нас, Борис знал, что делал. Счастью человека и литератора Рыжий предпочел счастье поэта. И ушел он – чтобы остаться.

РОДНОЕ – ЗНАЧИТ, ЛЮБИМОЕ: АНАТОЛИЙ ОМЕЛЬЧУК

Есть такой не самый привычный для русского слуха термин – пассионарий. Так называют человека, творческая активность которого явно превосходит среднестатистическую. Пассионарностью отмечен далеко не каждый член творческих союзов. И, конечно же, это свойство противоположно графомании. Графомания процессуальна – пассионарность результативна.

Среди мне знакомых служителей муз об этой лексеме побуждают вспомнить – единицы, и, вероятно, самый пассионарный – Анатолий Омельчук. Снимает фильмы, выпускает книги, организует фестивали, заметен практически еженедельно в Тюмени то на телеэкране, то в радиоэфире. И везде успешно. За что берется – все получается.

Журналист по профессии, Омельчук складом личности, конечно же, человек литературы. Рожденный в Сибири и в русском языке (эти координаты равно здесь значимы), все сущее он пробует на слово, на язык кладет. И счастлив почти по-детски, что перевод души на литеры происходит. Докричаться до человечества едва ли кому по силам, а вот поговорить – с собой или душе с душой – получается. Причем нередко. И благодаря слову, которому никакие усилители и не требуются, ощутить себя значимой величиной народа и человечества тоже выходит. Сильные чувства в словах, есть мнение, не нуждаются. Но душа без слов обойтись не в силах. Недаром сказано: «Словесное существо – человек. Особенно человек русский...» (В.В.Розанов). Эта позиция свойственна и тюменскому автору.

Литература стала для А.Омельчука длящимся с годами и сопутствующими им книгами опытом самоидентификации. Он знает: человек человеку – другой, и при этом не устает удивляться: «Сколько в нас чужих жизней. Сколько в чужих – нашей». Смотрите, говорит автор, как их много, людей азарта и фарта. Тех, кто сумел осуществить себя и кто знает, зачем он здесь, кому ведомо, каков он, хмель бытия.

Человека без родины не бывает, и писатель прописывает своих персонажей в пространстве, радостно обнаруживая, что масштаб их личностей выразительно рифмуется с масштабностью земли, на которой им выпало жить и работать. Земля Омельчука называется Сибирью. Территория за Уралом нашла в нем, азиате в первом поколении, своего биографа и поэта. Он более полувека пишет именно Сибирскую книгу. Книгу Сибири. Меняются ее названия и ее герои – неизменным остается авторское стремление постичь миссию этого пространства, некогда оказавшегося для родителей будущего литератора местом ссылки и ставшего для него самого источником воодушевления и вдохновения, местом самопознания.

Один из его фолиантов так прямо и назван «Сибирской книгой», и начинается он неожиданно – строчками о Марине Цветаевой. Казалось бы, уж она-то с зауральскими просторами никак не связана (разве что шестью годами, проведенными ее дочерью Ариадной, уже после смерти матери, в туруханской ссылке). Но ведь была у нее поэма «Сибирь» – и, размышляя о том, чем зацепила Цветаеву «сибирская» тема, автор задается вопросом, почему же уже больше полувека пишет о Сибири он сам. Так рассказ о родной земле и ее людях становится и исповедью рассказчика о себе. «Сибирские книги» и впрямь оказываются книгами личностного бытия. Бытия человека, прописанного в земных координатах Сибири. «Чем это пространство отличается от другого? Мое – от другого? Только мной. Я – мысль этого пространства».

Мы открываем обычно новые для себя земли. А тут родившийся послевоенной зимою в сибирской глубинке автор ведет речь о родных местах. О том, что привычно и сами пишущие, и мы вслед за ними зовем малой родиной. Но малая родина Омельчука – большая. Европы больше: материк Сибирь.

Но возможно ли открытие края, ставшего российским четыре с лишним столетия назад? Как свидетельствуют его книги, очень даже возможно. Возможно, если знакомое и привычное становится единственным. Любимым.

Да, его книги – о силе любви. Точнее – о власти любви. Единственной достойной человека власти. А любовь взыскует знания и понимания. Краеведение, перерастая здесь в краевидение, становится родиноведением. А оно ведет пишущего к счастливому осознанию того, что его земля – неповторима. И потому никакой это не край, не провинция страны и не периферия мира. Это твой центр. Сердце. Исток всему и итог.

В пору хронического смятения умов и затянувшегося поиска национальных ориентиров, ведущегося по старинному присловью «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что...», особенно важно чувствовать свое место на своей земле. Приобщить себя к ней духом, прежде чем лечь в нее прахом. Личное достоинство укрепляется через осознание причастности к тем, кто жил, любил, работал в этих же самых пространствах до тебя, равно и к тем, кто обживает их и ныне. Они и сегодня остаются суровыми и малообжитыми – потому так и дорого участие, сердечное влечение к этому кажущемуся безграничным простору.

Сибирь ведь не только нефть и газ, лес и рыба. Как бы ни были



А.Омельчук.

важны щедроты природы (а их экономическая значимость возрастает с каждым годом), Сибирь для автора – прежде всего связанные с этим материком люди.

В этом книжном своде Сибирь вочеловечена. Потому автор и называет ее «планетой настоящего», что ведает, сколько здесь настоящих людей, живущих без вранья и котурнов. Создается впечатление, что он – при всем разбросе во времени и широтах – лично знаком с каждым достойным человеком, узнанным на этих просторах. И каждого из своих знакомцев ему необходимо представить, показать крупным планом, ведь тогда тот, кто назван и показан, становится знакомцем и для нас, читателей Омельчука.

Сколько в его книгах имен и биографий, сколько лиц оживает на этих страницах! Сколько надежд, свершений, драм... Уроженцы здешних мест и пришлые, аборигены и чужеземцы, обласканные властью и ею преследуемые, фанатичные энтузиасты и расчетливые хозяйственники, ученые и промысловики, политики и люди веры, снискавшие славу вдали от родной стороны и принципиальные провинциалы, именитые и мало кому ведомые...

Капиталом сибирского пространства стали не его неиссякаемые недра, а «родной земли родные люди». Разной страсти они и разной судьбы – от Петровской поры тобольского губернатора Матвея Гагарина до знаменитого Рима Сулейманова, под началом которого шло освоение Уренгоя, самого внушительного нефтегазового месторождения страны. А в диапазоне между ними – Александр Кастрен и Юрий Шафраник, Пётр Ершов и Василий Кандинский, Григорий Распутин и Распутин Валентин, адмирал Колчак и братья Пепеляевы, Анна Неркаги и Юрий Вэлла. И о каждом говорится так, будто он или она и есть главный герой интересов писателя.

И все-таки имена большинства привлекающих писателя персонажей не встретишь на подножиях памятников, мраморе мемориальных досок, табличках с названиями улиц. «Сибиряки своих героев любить не научились», – сокрушается автор и своими публикациями и сопутствующими им радиопередачами и телефильмами (не случайно в книги он часто помещает и сценарии) воздавая невозданное, ратует за историческую справедливость и тем самым изживает эгоизм «сего дня». Время и пространство обретают глубину и объемность.

Заслуга Омельчука, побывавшего, пожалуй, всюду, где довелось находиться его персонажам, в том, на мой взгляд, что он умеет выявить «штучность» каждого своего героя. И человеческое то богатство уберегает автора от неизбежных в журналистике и противопоказанных литературе самоповторов.

Континент, бывший местом каторги и ссылки, но свободный от тягот крепостного права, вобрал в себя дух инициативы и свободомыслия. Нравственная оседлость, утверждаемая на страницах книги, апеллирует не только к полноте памяти, но и к трезвости в отношении нынешнего состояния Северной Евразии. И автор не уклоняется от прямых и нередко горестных суждений о наболевшем. Так, в пушкинские времена, напоминает он, западной окраиной России была Финляндия, восточной – Аляска. Ныне эти некогда российские владения стали одними из самых комфортных регионов планеты. Между ними Россия – с известными всему миру уровнем обустройства.

Вчера власти – и царские, и советские – боялись автономизации Сибири (и потому так насаждали колониальное отношение к сей земле и ее жителям). Завтра – и отнюдь не отдаленное – грозит уже куда более реальной аннексией этих ценнейших, но и сегодня недостаточно энергично и эффективно осваиваемых земных пространств.

Сибирские кладовые – главный резерв России. И от того, сколь успешно он будет мобилизован, зависит не только благосостояние этих мест и их обитателей, но и самостоятельность всей страны. Иначе и впрямь Тюменская земля может стать краем России. Ее восточной окраиной. С какой болью рождается констатация: «Меняются системы, режимы, личности, государи, вожди – а в нашем государстве все остается без изменений по отношению к Сибири». Вместе с тем эти слова публициста побуждают вспомнить невеселую сентенцию академика В.Янина: «Нас по-прежнему кормит сибирский «ясак», только вместо соболей и бобров теперь – нефть, газ, алмазы и золото».

Казалось бы, столь масштабные и тревожные выкладки не без усилия сопрягаются с теми частными судьбами, что представлены в исторических сюжетах книги. Но пафос ее на то и направлен, чтобы каждый, будучи на своем месте, осуществлял себя по максимуму, своей личностной состоятельностью способствуя укреплению состоятельности родной земли и всего Отечества.

Деятельный патриотизм тех, чьей каждодневной героикой Сибирь в прошлом из «прилагательного» к России стала существенным ее «существительным», наследуется трудами наших современников, о которых и с которыми писатель ведет разговор на страницах своих книг. Здесь академик Юрий Осипов, чьи часы всегда идут по узнанному в детстве тобольскому времени, соседствует со скромной учительницей из родного автору томского поселка Могочино – ее, Лидии Евгеньевны Пономаревой, усилиями создан в местной школе, носящей имя Пушкина, музей поэта, который памятен всем ее выпускникам. И тут же диалог с Валентином Распутиным сменяется беседой с Римом Сулеймановым, в 37 лет ставшим и по сей день остающимся во главе крупнейшего в мире газодобывающего предприятия. А еще есть очерки об энтузиасте-охотнике Петре Бахлыкове, что в одиночку развернул в затерянном под Сургутом поселке впечатляющую этнографическую экспозицию («Он создавал музей, а музей создавал его») и о художнике Геннадии Райшеве, работы которого, часто аккомпанируют строчкам книг писателя, наглядно подтверж-

дают сказанное о нем автором: «Он никогда не писал стихов, он сразу начал рифмовать кистью». И это все в одном из омельчуковских томов!

Героев в его книгах, повторю, много. О некоторых из них писатель вел речь весьма обстоятельно. Так, выходили отдельными изданиями литературный портрет самоотверженного исследователя Полярной Сибири писателя Константина Носилова и оригинальный очерк о родоначальнике сибирской филологии финском этнографе и лингвисте Матиасе Александре Кастрене. (К слову, этот ученый, который своими трудами, по сути, вывел малые племена, издавна населявшие эти земли, из тьмы забвения, тем самым сохранив их – увы, исчезающих – в памяти человечества, со студенческих лет служит автору книги примером личностного самостояния).

А рядом с ними куда менее известные персоны. Многие из них мне известными стали, признаюсь, именно благодаря Омельчуку. Скажем, первый картограф Ямала «с простым русским именем и фамилией – Иван Иванов». Или флорентиец Стефано Соммье, почти полтора столетия назад не без риска совершивший «Путешествие в Сибирь к остякам, самоедам, зырянам, татарам, киргизам и башкирам», о чем издал на своей родине так названный ученый труд. Или «ишимская Золушка» Параша Луполова, что в чаянии государевой милости для опального отца пешком отправилась из Зауралья в Санкт-Петербург, став поразительным олицетворением дочерней преданности (какой экранный сюжет не востребован!)

Автор умеет несколькими страницами сказать о человеке основное, проявить его уникальность. Вместе с тем наш современник, демонстрируя завидную широту информационного кругозора, охотно и не скупо цитирует старинные и труднодоступные издания, архивные и мемуарные источники. Только один тому пример. Благодарно вспоминая тех, кого уничижительно называли «областниками» и превращали в «фигуры умолчания», автор «Сибирской книги» воспроизводит в ней не публиковавшуюся после Октября статью одного из своих предшественников – Григория Потанина: «Большевики хотят подчинить нашу жизнь своей воле. Они создают организацию с сильной центральной властью, под нож которой хотят бросить нас. Если русская жизнь снова очутилась бы в железных тисках, в ней не нашлось бы места ни для самодеятельности отдельных личностей, ни для самостоятельности общественных организаций». Своевременный и для наших дней, сей диагноз поставлен еще в 1917 году.

Анатолий Омельчук пишет о достоинстве своей родины. Он убежден: Сибирь как миф даже сильней, чем Сибирь-территория. Почему? Да потому, что именно эти просторы делают Отечество великим. Именно Сибирь делает Россию разуму не поддающейся – как для самой России, так и для всего мира. Тем заманчивей проникнуться этой загадочностью, тем притягательней постижение этой неповторимости. Вот как об этом говорит сам автор:

«Проживая свое недолгое земное бытие, мы сами выбираем приоритеты и ориентиры нашей жизни. Познание Родины – удивительная вещь: ты приобщаешься к векам и просторам, историческим пространством возбуждена и озарена твоя душа, и ты постоянно подпитываешься их энергетикой и преодолеваешь одиночество, присущее любому творческому человеку.

Это мое время. Мой взгляд. Мой выбор. Моя нежная свирепая эпоха. Книга моего времени. Это я, Господи. Я – в Сибири».

Многоликая земля, говорившая прежде языком Зазубрина и Шишкова, Мартынова и Залыгина, Астафьева и Распутина, ныне выражает себя строками Омельчука. Сказанное может показаться слишком пафосным, но ведь и он сам не стесняется эмоций: «Моя родина не может обойтись без моей любви».

Высокий слог, казалось бы, выветрился из нашей литературы еще на исходе советского времени, а исповедующий интимный патриотизм автор на редкость патетичен: «Какие люди! Какое время! Какие страдания! Какие муки! Какое счастье!» И голословными эти восклицания не воспринимаются, ибо сопутствующие им страницы убеждают в их уместности.

Счастье слов для человека пишущего (пишателя, по Омельчуку) соизмеримо со счастьем любви. Всё может быть названо своим именем – скажем, так: «Сибирь покорила соха, а не меч». Или так: «Сибирь создана для зимы». И еще: «В нашей стране даже у репрессированных своя иерархия». А вот: «Потомки еще более беспощадны, чем современники». И тут же: «В своем мужестве человек всегда одинок. Не забудем мужества одиночек».

И самому неизъяснимому есть буквенный аналог, имя, формула: «Если у нас общая земля – мы земляки». «Россия не вмещается в Европе». «У воды волшебная сила – манит туда, куда течет». «Делай всё с удовольствием, и тогда у тебя не будет никаких обязанностей – одни удовольствия». «Бог на всех один, но у каждого свой». «Я за свои слова не отвечаю. Это мои слова отвечают за меня». «Язык не умеет лгать». «Прошел дождь и разбудил все запахи». «Чудо человека на земле. Ты существуешь на этой земле как чудо». А вот вместившийся в одну строку целый роман: «в конце прошлого века меня любила прекрасная женщина».

И еще несколько выписок: «любовь – форма абсолютной свободы»; «постижение Бога, может быть, важнее, чем само существование Бога»; «как много людей в человеке!»; «чтоб стать счастливым, надо забыть о времени»; «любовь – репетиция бессмертия: тот, кто любил, кто впадал в любовь, если и не был в тот миг бессмертен, то почувствовал вкус бессмертия...»

Русское мировосприятие традиционно элегично. Слово Омельчука, натуры для сибирской раздольности вулканической, энергетично: «У нас с вами есть редчайший шанс – быть счастливыми в своей единственной жизни». Какое уныние, какие вздохи и сожаления, когда тебе дано такое пространство, такой язык, такая литература, такие мама и папа, такие земляки! Достигший ныне своего акме, сей поэт в прозе заражает и заряжает своей пассионарностью. Не позволяя себе стареть, он и читателей своих к тому склоняет. На окраине Тюмени среди им посаженной тайги, под лиственницами, кедрами и пихтами живет и пишет в свое удовольствие. И нам в том пример подает. Другой-то жизни не будет.

В ЦЕНТРЕ: ВАЛЕНТИН ЛУКЬЯНИН

Жить без критики, без обсуждения дел своих и чужих – значит прозябать подобно растению, жить очертя голову, как говорит русский народ.

Карманный словарь иностранных слов,
вошедших в состав русского языка. СПб., 1845
(из объяснения слова «критика»)

Статья о нем в Википедии была донельзя лаконична. Не статья даже, а лишь, как оговорено, заготовка оной, занимающая полторы всего строки. И кончается эта информация фразой: «Живет в г. Екатеринбурге, в центре города».

И такое редкое в интернет-энциклопедии житейское уточнение характеризует, как представляется, не только место жительства нашего героя, а и его место в ноосфере Екатеринбурга. Оно и в самом деле центральное.

Это может показаться удивительным. Ведь по роду своей деятельности он, как свидетельствует та же Википедия, литературный критик. А есть ли она сегодня в России – литературная критика? Кое-кто из причастных к отечественной словесности в том сомневается. Но вот парадокс (один из многих в здешних весях): критики, может показаться, и впрямь нету, а критики – есть. У нас на Урале – это прежде всего Валентин Петрович Лукьянин.

Его дебют состоялся полвека назад: областная газета «Уральский рабочий» напечатала обзор поэтической рубрики журнала «Урал» за 1961 год. О стихах в дальнейшем он заводил речь лишь несколько раз, а вот с названным журналом накрепко связал всю последующую жизнь. Но прежде чем он станет самым, без преувеличения, печатаемым автором этого издания, а там и главным его редактором, были годы детства и юности, которые не назовешь безоблачными.

Мать растила его с братом и сестрой одна. Отца, сельского учителя на Брянщине, он, родившийся на исходе 1937-го, никогда не видел. Год рождения объясняет всё. Своей смертью в ту «расстрельную» пору в России, мнится из дней нынешних, не умирали. Впрочем, о том, что жизнь отца оборвалась меньше, чем через месяц, как его «забрали», семья долго не знала. А вся «контрреволюционная (ныне сказали бы – экстремистская) деятельность» 37-летнего Петра Матвеевича Лукьянина, за которую он был осужден на «десять лет без права переписки» (сообщенный семье циничный эвфемизм смертного приговора), состояла в том, что он, изучавший эсперанто, переписывался с несколькими зарубежными эсперантистами. А едва ли не любая связь с заграницей пламенит воображение ревнителей бдительности и поныне.

Но не мной замечено, что по какому-то, видно, закону компенсации самая жестокая пора сталинщины оказалась временем появления на свет целой плеяды тех, кем гордится ныне наша культура. Вампилов и Распутин, Битов и Маканин, Ахмадулина и Аверинцев... И, как и они, он мог отнести к себе слова поэта, что «бури века нес в себе».

Уральцем Валя Лукьянин стал волею случая. Окончив в 1955 году Брянский машиностроительный техникум, он получил распределение в Свердловск на турбомоторный завод. А через пару лет он пришел – и, как оказалось, надолго – в Уральский государственный университет. Вузовский диплом был получен на филфаке. (В интересе к словесности сказались, вероятно, отцовские гены: Петр Матвеевич в юности писал стихи, и, сохранившиеся в семье, они убеждают в несомненных литературных способностях автора). А потом была аспирантура на кафедре философии, и после защиты кандидатской диссертации он как доцент кафедры эстетики втолковывал азы этой мудреной дисциплины юным гуманитариям большого Урала, а там и далекой Кубы, где ему довелось разъяснять (случалось и на испанском!) бывшим и будущим барбудос, что в искусстве хорошо, а что – не очень.

И все эти годы ставший философом филолог Лукьянин своими публикациями прежде всего в том же «Урале» (хотя были и статьи в столичной прессе) укреплял свою репутацию литературного критика.

Его никогда не привлекала стезя критика-оценщика. Статус зоила, служащего по ведомству литературного ОТК и дотошно выискивающего изъяны и упущения словесной продукции, ему не по душе. И «отрицательных» рецензий в его обширнейшем послужном списке не больше, чем публикаций о поэзии. Не занимает его и честолюбивое выстраивание концептуальных абстракций и персональных иерархий. Оценки и характеристики он, конечно, дает, и они, как правило, доказательны и взвешены, но что Лукьянина прежде всего занимает, так это возможность, опираясь на предоставляемый художественными источниками тот или иной материал, с той вдумчивой основательностью, какую позволяет журнальный формат, поразмышлять – ключевое для него слово! – о реалиях и процессах самой жизни. Вот рядовой тому пример. Рецензирует он книгу воспоминаний о знаменитом военачальнике, а заголовок своему отклику дает следующий: «Маршал Жуков как злободневная проблема» (Урал, 1996, № 11-12). И то обстоятельство, что составившие этот мему-



В.Лукьянин.

арный сборник тексты к изящной словесности относятся постольку поскольку, рецензента не смущает.

Диапазон его интересов и прежде не был узким (показательно название его диссертации – «Научно-технический прогресс и культура»), и с каждой новой публикацией он становится в социальном плане все шире. Критик Лукьянин – прежде всего публицист. И эта публицистическая страстность органично мотивирована общественной заостренностью литературного слова в России.

Отечественная словесность никогда не жила сугубо эстетическими заботами – ей до всего было дело. Жизнь в стране избыточно щедра на болезненные коллизии и масштабные катаклизмы, и реализм лучших книг всегда оставался по сути критическим. Что сохранялось и в советскую пору, когда этот реализм идеология силилась трансформировать в социалистический. А поскольку критика «договаривает» за художника многое из того, что им показано или намечено, постольку она в России как во времена Белинского и Писарева, так и век-полтора спустя остается по преимуществу публицистической. Потому и интересной не только прозаикам, поэтам и тонкой прослойке литературоведов. Другое дело, что навык чтения литературы не для развлечения, а во имя того, что некогда было удачно названо «счастливым трудом души», когда интенсивная работа «серых клеточек» мозга дарует радость, за последние десятилетия у многих атрофировался, а у нового поколения знающих грамоту в силу разных причин и не развился. Оттого и возникает иллюзия, будто литературной критики у нас нет. Нет – резонанса. А он, как известно, зависит не только от того, как и что сказано, но и от того, кем услышано и как понято.

Педагогический дар Лукьянина позволяет ему вести разговор на ту или иную тему всегда внятно и обстоятельно, расставляя все точки не только над і, но и над ё и ориентируясь неизменно не на конфронтацию с реальным или гипотетическим оппонентом, а на соразмышление и взаимопонимание. Еще раз посетую на то, что ответной реакции на слово критика-публициста от аудитории могло быть больше. Ведь это было бы в интересах не единственно самого критика, но и в интересах читателя. В интересах, пафосно говоря, самой жизни.

Темы для анализа Лукьянин предпочитает не периферийные. И даже когда он пишет об авторах или проблемах, не особенно меня занимающих, внимать его слову полезно. Ибо социально мыслящий критик в своих неспешных выкладках руководствуется неизменно здравым смыслом и чувством ответственности за сказанное. Вот почему, подчас и не соглашаясь с Валентином Петровичем, я, читатель, волей его логики и аргументации все равно вовлекаюсь в тот круг болевых вопросов отечественного бытия, который заботит моего старшего коллегу, неизменно демонстри-

рующего завидную культуру не просто высказывания, а и самого мышления.

«Крупный ученый – философ по определению», – так обмолвился он в одном из портретных очерков, которые из-под его пера в последние годы выходят все чаще. В условиях мировоззренческого кризиса, обусловленного не только масштабной неудачей социалистического эксперимента в нашей стране, но и общецивилизационной ситуацией рубежа веков и тысячелетий, отмеченной утратой ценностных ориентиров, резко повысилась значимость личности. Личности, чье самоосуществление способно быть примером достойной жизни в обстоятельствах, которые достойными назвать не получается. Характеры и судьбы таких наших земляков, как академики С.С.Алексеев и С.С.Шварц, Н.Н.Красовский и О.Н.Чупахин, И.Я.Постовский и В.Н.Большаков, под пером их биографа стали убедительным подтверждением вывода, некогда сделанного Андреем Платоновым: «Страна темна, а человек в ней светится». И то, что портретирующий оказался достойным портретируемых, – еще один примечательный штрих в обрисовке героя этих строк.

Ученые, творческую «штучность» которых удалось запечатлеть в их словесных «профилях», поставили свой интеллект на службу практического освоения мира. Казалось бы, критику, располагающему всего лишь словом, трудно рассчитывать на то, что отстаиваемые им идеи могут стать материальной силой. Однако Лукьянину посчастливилось и здесь. Вскоре после возвращения с тропических широт он оказался главным редактором журнала «Урал» и руководил этим изданием без малого два десятилетия – с 1980 по 1999 гг.

Отвечать за столь «взрывоопасное» хозяйство, где необходимо равно учитывать интересы и искусства слова, и экономики, и региональной политики, согласитесь, всегда непросто, а тут еще не забудем, что это двадцатилетие редакторства пришлось на переломные (или, что то же самое, кризисные) для всей страны годы. Не удивительно, что почти все нестоличные журналы в условиях распада советскости впали в состояние анабиоза. Почти – это как раз журнал, ведомый В.П.Лукьяниным.

Две с лишним сотни номеров, в каждом, как минимум, два десятка авторов – и все их создания непременно, прежде чем стать достоянием публики, взыскательно прочитывались главным редактором. (А сколько еще прочитывалось из того, что в итоге оказалось отвергнуто!) Страницами ежемесячника становились очень разные рукописи, и, честно признаем, многие из этих публикаций спустя годы если и памятны, то, пожалуй, лишь самим сочинителям. Но немало было за эти годы напечатано в «Урале» и таких произведений, которыми литература нашего края вправе гордиться. И в том, что увидели свет «Диофантовы уравнения» А.Ромашова, «Автопортрет с догом» А.Иванченко, «Старикова гора» и «Весталка» Н.Никонова, – есть заслуга не тех только, кто это написал, но и того, кто это сумел напечатать. Ведь для слова нетривиального, независимого по мысли и самобытного по образности, не забудем, режима наибольшего благоприятствования тогда не было.

В пору «читательского бума» – был, был такой! – именно со страниц «Урала» вышли в России такие шедевры, как «Дар» В.Набокова, «Сивцев Вражек» М.Осоргина, «Крысолов» Н.Шюта. При этом редакторе в журнале происходило становление таких ныне признанных литературных величин, как Ольга Славникова, Леонид Юзефович, Нина Горланова, Вячеслав Курицын, Марк Липовецкий, Валерий Исхаков. А в 1988 году событием стал, что помнится и четверть века спустя, целый журнальный номер, весь составленный из произведений подчеркнуто экспериментальных, акцентирующих свою идейную и эстетическую непривычность.

Часто редакторская работа настолько поглощает того, кто ею занимается, что на собственное писательство времени и сил уже почти не остается. Валентин Петрович смог опровергнуть это представление. Причем в последние годы у него выходят труды не только критического или публицистического толка. Лукьянин активен как краевед – трижды издавались написанные им с М.Никулиной «Прогулки по Екатеринбургу». В этом же соавторстве написана книга про «Литературный квартал». А еще опубликован обстоятельнейший очерк к 120-летию Свердловской железной дороги – «Больше века на службе России» (опять-таки сказалась генетика: дед автора был железнодорожником). Попробовал он себя и как популяризатор, выпустив совместно с Сергеем Георгиевым «Начала мудрости» – нечто вроде учебника философии для младших школьников. Отдельным изданием вышла ранее опубликованная «Уралом» документальная повесть об отце, вполне оправдывающая свое ответственное название «Обыкновенная история, XX век», где естественное для сына желание как можно больше узнать о том, с кем разлучила сталинская пуля, обернулось скрупулезным показом работы «колесиков» и «винтиков» карательного механизма власти, сгубившей сотни тысяч безвинных людей.

После того, как руководство журналом было передано другому, Лукьянин, не переставая регулярно печататься в «Урале», стал активно сотрудничать с журналами «Налоги России» и «Наука. Общество. Человек. Вестник УрО РАН». А еще он – заслуженный работник культуры, лауреат премии имени. П.П.Бажова и неоднократный – премии Губернатора нашей области, многие годы был сопредседателем Союза российских писателей и целое десятилетие занимался в областной комиссии по помилованию.

Возраст не сказывается на его активности. На рабочем столе – новые рукописи, а в голове (уже давно побелевшей) – новые замыслы. Зная Валентина Петровича и его умение дисциплинировать не только свои слова, но и свои дни, уверен, что нам еще многажды предстоит размышлять над страницами, подписанными его фамилией. ❑

РИФЕЙСКИЙ ПАССИОНАРИЙ: ЕВГЕНИЙ ЗАШИХИН

Треть жизни он прожил при Путине, остальное – при Горбачеве и Ельцине, а также при Хрущеве и Брежневе. Обстоятельства истории были для всех общими, а он сумел остаться человеком штучным. Евгений Зашихин. В Екатеринбурге, равно и в соседних городах и областях, он известен многим. А уж литераторы, художники, издатели, журналисты его знают не только на Урале. Вообще, каждый, кто хотя бы раз его слышал, имя это, не сомневаюсь, запомнил.

Выступает он едва ли не всюду, где оказывается. И пусть его дикцию не назовешь безупречной, зато в нетривиальности и остроумии ему едва ли откажет даже тот, кому выпало быть адресатом его язвительности.

Ругает он, пожалуй, чаще, нежели хвалит. Впрочем, иной пропорции трудно ждать от того, кто много лет в журнале «Урал» ведал отделом критики.

Быть критиком в отношении земляков, говорю по собственному опыту, трудно. Ведь чуть ли не с каждым, кто тут сочиняет, играет или рисует, ты знаком, а с кем-то не раз и застольничал, убеждаясь, какие все это зачастую приятные и толковые люди. Ну а то, что их рукописи, роли, картины трудно бывает признать шедеврами, так ведь на это есть памятное методическое указание: в пианиста не стрелять – играет, как умеет.

Зашихину подобная извинительность претит. Спуску он никому не дает. И даже давнему другу, который на его дачном участке, что на Балтыме, бывал едва ли не чаще, нежели на собственном, Женя охотно скажет малоприятные вещи, ежели его (мои!) строчки того, увы, заслуживают. Ревнитель правды, он не стесняется раскритиковать всякого, с кем не согласен по сути.

Его манера выглядит агрессивной. Но эта экспансия если и кажется разрушительной, то лишь в отношении того, что требует именно дискредитации. Перфекционист, он грезит безупречностью. И пусть сам не всегда ее демонстрирует (хотя, повторю, банальными его тексты и речи не бывают), но от окружающих он требует по максимуму.

В критической епархии все такими быть не могут. Но пристрастные зоилы этому творческому цеху необходимы. Авгиевы конюшни современной художественной практики остро нуждаются в очистительном слове.

А еще он, Зашихин, – замечательный редактор. Лучший из мне известных. О редакторах речь заходит редко, меж тем без этих акушеров книг литературу не представить. Толковый редактор не будет переписывать принесенную ему рукопись (хотя в советское время такое бывало не раз, в том числе и с томами, на коленкоре которых значатся весьма известные писательские фамилии). И устранить лишние в тексте запятые он мог бы доверить корректорам (да только ныне за повсеместным отсутствием таковых редактор вынужден заниматься и пунктуацией). Собственная его миссия – иная, и состоит она в концептуальном видении конечного художественного результата и последовательной заботе о том, чтобы читателю как можно отчетливее представить творческие интересы автора.

Вот почему в книгах, редактором которых значится Е.С.Зашихин, такую важную роль играют предисловия или послесловия, тут непременны примечания и комментарии, да и подбор иллюстративного материала оказывается крайне существенным. Сошлюсь для примера на изданный почти два десятилетия назад «У-Факторией» – было такое издательство у нас! – том стихов Бориса Рыжего. Сборники этого поразительного лирика выходили в Москве и Петербурге, однако единственное его издание в нашем городе остается, вне сомнения, лучшим. И не потому даже, что оно полнее других являет наследие сформировавшегося здесь поэта, а потому, что замечательно продумана структура книги. Лучшие, зрелые стихи вынесены в начальный ее раздел, и лишь потом воспроизводятся ранние стихотворные опыты. При этом содержательным автокомментарием к лирике выглядят страницы дневников, писем и интервью поэта. Уместен в однотомнике и обстоятельнейший очерк жизни и творчества Рыжего, созданный Юрием Казариным. А как выразительна страница, итожащая фотоблок издания, где контурная карта воспетого Борисом «Вторчика» (Вторчермета) вписана в схематичное изображение Петербурга: ведь если Свердловск был для поэта городом семейных и дружеских уз, то невскую столицу он воспринимал городом муз! И таких оснований для профессиональной гордости у Зашихина немало.

Почти легендарной в книжном мире стала его дотошность в отношении фактографии. Пишущие часто полагаются на собственную память, а она многих (с годами особенно), случается, подводит. Многих, только не его. Говорят, исключительной памятью и на-

сигета, где Зашихин руководит редакторскими кадрами, за нечитаемость был им отвергнут пространный квазимемуар от именитого вузовского деятеля (что, замечу уже в скобках, не помешало этому опусу обрести книжную форму в ином месте и даже засветиться в наградном списке престижной литературной премии...)

Родился он в ставшем теперь иноземным Тарту, а до совершеннолетия жил в Нижнем Тагиле. Не этим ли совмещением европейского с азиатским объясняется, хотя бы отчасти, парадоксальное в этом характере сочетание, поантичному изъясняясь, аполлонической упорядоченности и дионисийской амбициозности.

И еще одно достоинство: он умеет и любит писать письма. Эпистолярный жанр в век мобильных телефонов и скайпа может показаться атавистичным. Меж тем едва ли что сравнится с рукописными строчками, где на получателя действуют не одни лишь слова, но и почерк, и бумага, а то и конверт с поразительно подходящим к случаю рисунком. И даже переведенные в печатный текст, страницы таких посланий сохраняют физиономию души их автора. Если издать зашихинские письма разным адресатам, это было бы, уверен, весьма, как говорили в старину, душеполезное чтение. Да вот незадача: заботясь о книгах, написанных другими, Евгений никак не выкроит время, чтобы подготовить собственную. И не обязательно ведь – писем. Из одних только посвященных здешним служителям муз портретных очерков (разбросанным по газетной и журнальной периодике) могла сложиться вполне приличная книжица. Охотно стал бы, к слову, ее редактором.

Герой этих строк к удивлению окружающих достиг возраста, дающего право на пенсионное удостоверение. Но разве может наслаждаться покоем тот, кто всегда помнит строчки своего любимого автора из Серебряного века: «Как сладко жить, как сладко побеждать / Моря и девушек, врагов и слово»?



Е.Зашихин.

читанностью поражал с юных лет Натан Эйдельман, и его можно было бы назвать ходячей Википедией, ежели б полвека назад существовал Интернет. Наш рифеец на Википедию, может, и не потянет, а вот на Большую советскую энциклопедию – вполне. Однажды прочитанное и увиденное им не забывается. Эта фамильная феноменальность позволяет ему быть сведущим во многих сферах. Неоднократно был свидетелем в самых разных аудиториях, когда кто-либо из выступающих вдруг забывал какие-то строки или сведения, Евгений Степанович мгновенно приходил тогда на помощь. И естественно, подобная основательность кругозора дает право корректировать отдельные поспешности или просмотры даже у столь признанных эрудитов, как Александр Генис или Михаил Эпштейн, над книгами которых ему тоже доводилось работать. Потому у него получились столь насыщенными всевозможными сведениями фолианты про историю библиотеки имени Белинского (2019) и биографию областного краеведческого музея (2020).

Ну а ежели на стол к такому редактору попадает нечто скороспелое или халтурное, то он сделает все, чтобы оному изданию воспрепятствовать. Так, помню, в издательстве Уральского универ-

СТРАНА И СЛОВО (ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТЫ)

В огороде за кадкой Лихо
Плакало тихо-тихо.
Вот такая у нас эпоха –
Даже Лиху бывает плохо.
Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Любой двоечник, не говоря уже о более успешных учениках, знает, что у каждого русского писателя тема Родины непременна и магистральна. Но пафосной тема эта становится лишь в годину чрезвычайных испытаний – в дни войн и революций. А в более спокойные времена она получает иную трактовку – как, положим, в известных словах П.Чаадаева про неумение любить Родину с закрытыми глазами или в не менее памятных стихах А.Ахматовой «Родная земля», что начинаются строчками «В заветных ладанках не носим на груди, / О ней стихи навзрыд не сочиняем...», а итожатся констатацией: «Но ложимся в нее и становимся ею, / Оттого и зовем так свободно – своею».

Земля нуждается в пахарях. Но нуждается она и в поэтах. В тех, кто способен озвучить ее боли и радости, ее тревоги и надежды. И счастлив тот край, у которого есть свои представители в русской литературе – подобно тому, как у Тихого Дона есть Шолохов, у Русского Севера – Шергин и Рубцов, у Большого Урала – Мамин-Сибиряк и Бажов, у Сибирского материка – Астафьев и Распутин, у Тюменского Севера – Неркаги и Омельчук.

Родиной писателя в его творчестве определяется многое. Но живем-то мы не только на территории, но и в истории. Время жительства важно для художника не менее, нежели место жительства. Мы часто вспоминаем масштабные события былого и великих наших соотечественников, своими свершениями и подвигами крепивших славу России. Так, чем дальше от победного 1945-го года, тем громче празднуется в мае День Победы. Или на не забытой еще внезапно инициированной акции по доименованию крупнейших в стране аэропортов в каждом конкретном случае подсказывался едва ли десяток достойных кандидатов.

Не часто преуспевавшая в технологической сфере, Россия была дорога человечеству именно как эволюционный маяк. Наш человек издревле не жил только делом, только службой, только наличностью (и в материальном смысле, и экзистенциальном). Он мог не пожалеть себя ради «великих трудов», не раз в истории убеждая себя и другие нации в том, что «нет работы – суровой для тела, / недоступной и тяжкой уму, / чтобы ты ее с честью не сделал, удивившись себе самому» (Борис Ручьев). Но при этом человеку здесь необходимо понимать или чувствовать, во имя чего, ради чего, для достижения каких целей требуются подобные чрезвычайные усилия, а то и жертвы. Только «так сбываются сказки в России». И вот этими-то героически творимыми – в слове и яви – сказками Россия была интересна миру и себе самой. Достаточно вспомнить признание Черчилля: «Россия – это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в неизвестность».

Гордиться нам, повторю, есть и чем, и кем. Но спросим себя: не потому ли мы так часто обращаемся к прошлому, что настоящее не дает нам примеров таких свершений и таких личностей, которые могли бы по праву продолжить ряд веховых событий и легендарных персонажей былых времен? Не прикрываем ли мы прошлыми победами беды дня нынешнего? Не превратила ли себя страна лишь в поставщицу энергоресурсов да политических и юридических казусов?

Последняя фраза последней прижизненной публикации В.Шукшина («Кляуза»): «Что с нами происходит?» Думаю, постановка этого вопроса и поиски ответов на него – вот самая актуальная задача для писателя современной России. Конечно, это вопрос, прежде всего, для политиков и журналистов, экономистов и социологов. Но если названные инстанции от этого вопроса уклоняются или же подменяют его другими, куда более частными, тогда возникает насущная потребность в современных Гоголях и Салтыковых-Щедриных, Шукшиных и Вампиловых.

Страна нуждается не в подданных, а в гражданах. В отечественном социуме – острейший дефицит гражданственности.

Согласных букв в любом языке больше, чем гласных. И людей, согласных со всем, что вокруг происходит, во много раз больше, чем натур думающих, самостоятельно мыслящих, имеющих на происходящее личную точку зрения и гласно ее выражающих. Но именно этими не всегда приятными голосами и стимулируется общественное развитие.

Где нехватка гласности, там неизбежны застой и регресс. Жизнь движется именно сопоставлением и соперничеством разных точек зрения. Столкновение идей предотвращает столкновение людей. Ежевечерняя телепропаганда уже почти десятилетие силится разделить живущих в России на «наших» и «ненаших» и столь же упорствует в последовательном противопоставлении России всему миру.

Наше информационное пространство страшно непатриотично. Ежели внимать ежевечернему камланию Соловьевых и Киселевых, россияне уснуть не могут, не озаботившись в тысячный раз тем, как там дела на Украине или в Сирии, или на Тайване, в Германии, Франции, Польше, США, Британии.... Надо быть в курсе, что там происходит? Конечно же. Но почему же мы с таким же постоянством и с такой же страстностью не говорим о положении в России? О том, как живется человеку в нашей стране. Как здесь принимаются законы и как они исполняются. Как избирательна бывает российская Фемида. В каком состоянии находятся у нас здравоохранение, образование, наука. Почему отсюда продолжают уезжать умные, инициативные, талантливые. Отчего дети тех, кто клеймит Запад, учатся в тамошних университетах и домой не собираются. И ряд этих вопросов можно длить и длить.

Для современной России опасны не столько противники извне, сколько внутренние недоделки, законодаательные неразберихи, тупые чиновники, способные только исполнять обозначенное вездесущим регламентом, а не стимулировать величие своей большой и малой Родины.

И без заинтересованного сосуществования с Западом России не выжить. А вместо тоже необходимого стране импортозамещения нужно семимильными шагами развивать собственную культуру, способную укореняться не только в мозгах жителей дружественных государств, но стран, которые стали называться враждебными. И создавать там своеобразное российское импортопроникновение. Ведь жить надо стараться по принципу «вместе», а не «вместо».

Это понимали Петр I и Пушкин.

Это понимали и большевики, клеймившие буржуев, но осуществившие индустриализацию с помощью технологий и специалистов из Америки и Германии. И фашизм был побежден благодаря нашему политическому, военному и экономическому союзу.

А мы усердствуем в тактическом противостоянии с теми, кто живет по обе стороны Атлантики, упуская из виду, что приближаем тем самым собственное стратегическое поражение. А если все-таки говорить о соревновании с этим «проклятым Западом», то не забудем, что не так далеки времена, когда на стороне Советского Союза была едва ли не треть государств мира и множество сторонников в тех странах, что в эту треть не входили. За челюскинцев переживал весь мир. Человечеством признан был решающий вклад нашего народа в победу над фашизмом. Гагариным восхищалась вся планета...

Ракетами мозги не заменишь. Ракет у нас много. Но рассуждать надо не о том, сколько раз и каким образом эти ракеты способны уничтожить мир, а о том, раз вновь оказались у пугающего человечество края, как во что бы то ни стало уберечь земной шар от гибельной для него катастрофы.

Мы по праву гордимся интернациональным единством внутри Отечества. Но ведь и все живущие на земле – земляки. Земляне. Разноязыкая Россия – модель мира. Человечество, как выразился Лев Аннинский, обречено на единство. А соперничать внутри него приходится ныне уже не столько за территорию и сырьевые богатства, таящиеся в ее недрах, сколько за умы и представления. Наша пропаганда все еще живет в координатах «холодной войны»: кто кого больше запугает. А война-то идет информационная, и направлена она не столько на то чтобы показать, какие мы сильные, а на то, чтобы создать максимально благоприятную репутацию стране, ее государству, ее культуре, ее населению. И про то, как сказались на репутации России и ее власти высказывания последних лет и события последних месяцев, выразительно свидетельствуют обложки иностранной периодики.

Россия не устает акцентировать свою военную мощь, но, повторяю, есть и более красноречивые ныне показатели могущества государства – как то: экономический параметр, технологический, научный, образование, медицина. Качество жизни, словом. И во всех этих сферах мы обидно далеки не только от США или Германии, но и от куда более скромных стран. Министерства и ведомства так «оптимизировали» наше существование, что оснований для оптимизма – помимо поводов частной жизни – почти не остается.

Кто читал Лескова, помнит просьбу Левши, побывавшего в

иноземии: «Передайте императору, что нельзя ружья кирпичом чистить». Что ж, заботиться о материальном обеспечении армии наши императоры научились. Но ведь методическая от Левши рекомендация не только к вооружению относилась.

Стране нужны не послушные, а думающие. Стало быть, каждый по своему уму. Меж тем в современной России ставка сделана на единодумие, когда страна призвана поддакивать «вослед одному», как сказано у Платонова. А единодумие неизбежно оборачивается скудоумием. Упрощением и понижением. Ставка со всей очевидностью делается не на тех, кто умнее, а тех, кто сильнее. Здоровое тело куда важнее здорового духа.

Потому спорт в нынешнем Отечестве значимее литературы. Причем из всех видов спорта акцент делается на самые агрессивные: рукопашные бои и бокс – и это в то время, когда бокс собираются исключить из программы Олимпийских игр как проявление жестокости. Потому в Государственной Думе бывших спортсменов больше, чем настоящих писателей. Потому с борцами или фигуристами глава государства встречается гораздо чаще и охотнее, нежели с писателями или учеными.

Душа стремится в примитив. В «тучные» десятые годы, когда на российских просторах пробовала укорениться ризома общества потребления, ставка делалась на «развлекуху». А в последовавшие затем «скучные» времена манипуляторы общественной атмосферы занялись отвлечением. Вот почему там, где некогда был Леонид Парфенов, стал царить Андрей Малахов. Где звучали Муслим Магомаев и Людмила Зыкина – там стали привычными голоса Георгия Лепса и Любови Успенской. Где читали Астафьева, Распутина, Трифонова – листают Донцову, Устинову, Полякову (не путать все же с Ю.Поляковым).

И тут уместно напомнить, что читатели ответственны за литературу тех лет, в какие они живут, не меньше, чем современные им писатели. Наблюдая на склоне своей жизни резко возросшее число непритязательных антрепризных постановок, Фаина Раневская не без язвительности объяснила этот поток тем, что «в сегодняшнем театре халтурщиком стал зритель». А ведь в книжные магазины и соответствующие им интернет-службы заглядывает та же самая публика, что наполняет театральные залы.

Не потому ли не получили того общественного резонанса, на который у них, полагаю, были основания рассчитывать, такие социально значимые книги последних лет, как «Елтышевы» Р.Сенчина, «День опричника» В.Сорокина, «Травля» С.Филипенко, «Саша, привет!» Д.Данилова? Не потому ли «Петровы в гриппе и вокруг него» А.Сальникова соотносились в нашем социуме лишь с ковидной пандемией («надо же, как угадал!»), тогда как прозрачная метафорика неловкого, казалось бы, названия и открывающегося за ним выверенного автором содержания указывала на недуг иного совсем толка.

Одна из статей поэта и филолога Ольги Седаковой имеет диагностически точное название – «Посредственность как социальная опасность». Именно так: не проблема даже, а опасность. И осознание опасности этого вектора в сторону плебейства и лакейства у нас, по моему разумению, запаздывает. Четверть века назад, кто постарше, помнят, Юрий Карякин, поразившись тому, сколько голосов получила на еще не отредактированных тогда выборах партия Жириновского, воскликнул: «Россия, ты одурела!» Последующие годы, кажется, склоняют к еще более мрачному выводу: Россия ошариковела.

Политики и производители отечественного сырного продукта призывают радоваться тому, что в стране происходит импортозамещение. А куда необходимее для Отечества замещение коррупционеров и лизоблюдов, каковых явно лишку на многих ответственных должностях. Иначе не было бы международного фарса с так называемым Петровым и так называемым Бошировым. Не было бы анекдота про дырку в космическом корабле. Не было бы анекдотичных заявлений исполнявшего некогда обязанности президента. И много другого не было бы, от чего мир приходит в состояние то смеха, то ужаса, а у нас краснеет все, что еще способно от стыда краснеть.

Культура – и словесность в первую очередь – занимается производством смыслов. Россия сегодня занимается производством ракет, чиновников и запретительных законов. Благоприятный образ России формировался в мире не только благодаря победам русского оружия, но и в силу таланта Достоевского, Толстого, Чехова. И хотя то, что сегодня пишется и издается, не идет, конечно, в сравнение с их наследием, мы, сочинители и читатели, – их наследники. Наследство можно промотать. Но можно этот моральный капитал попробовать пополнить своей, скромной пусть, лептой.

Тот, кто пишет сегодня по-русски, призван прежде всего напоминать всем понимающим русский язык о достоинстве. Достоинстве слова. Достоинстве литературы. Достоинстве нации. Будем, если чуть изменить слова поэта, сеять разумное, доброе, пусть и не вечное, в неурожайные годы.

Декабрь 2021 – июль 2022.

РИФМЫ

Бокариада

Геннадию Бокареву

Сегодня многие умы
мечтали здесь бы очутиться!
...Вы начинали прозой «Мы» —
тому назад лет, помню, тридцать.

Вас, как монарха, слушать стал
народ Советского Союза
и перестал варить он сталь,
внимая вам душой и пузом.

Радиотехникума курс
помог травильщику на ВИЗе
попасть в НИИ и там, средь дур-с,
связаться с Музою в капризе.

А с Музой связь, известно ль вам,
не труд в тиши лабораторий,
и круглосуточный бедлам
она всегда горит устроить.

Но нрав не тот у Кузьмича,
чтоб шел на поводу кого-то —
своя натура горяча
и охлаждалась не компотом.

Сценарий, драму написать
трудней, чем выпечь тонну стали,
но персонажей ваших рать
повсюду наблюдать мы стали.

Ефремов сам, придя во МХАТ,
едва ступил на славну сцену,
сказал: — Поскольку мой диктат,
сперва я стану ставить — Гену!

А Рощин, Чехов — подождут,
нам Бокарев иных дороже:
о Сталеварах пишет — гут! —
и сам, стал быть, мужик хороший.

И сей мужик пошел везде,
и кажется сейчас: на сценах
сварили стали в годы те,
пожалуй, больше, чем в мартенах!

Желанья собственного раб,
всяк месяц мысля жарким самым,
ввалился в местный киноштаб,
а где кино — там, знамо, драмы.

Но в ваших мир в глазах не гас
от тех конфликтных ситуаций,
чреват какими каждый час
там, где твой фронт стал простираться.

Пусть, кто безвольем поражен,
дрожит пред властью или СПИДом —
Г.Б. в бореньях закален
и изнутри заполнен спиртом.

Таким мужчинам не страшён
конец недели и столетий —
и в шестьдесят способен он
себя найти и обессмертить.

Вам кнопку «Пуск» давить не лень —
и юбиляру всем активом
желаем, чтоб всяк новый день
ваш был и впредь почти счастливым.

Почти — чтоб стимул был и нерв.
Почтим былых времен восторги!
А юбиляр — как пионер —
всегда готов для новых оргий!

Декабрь 1994



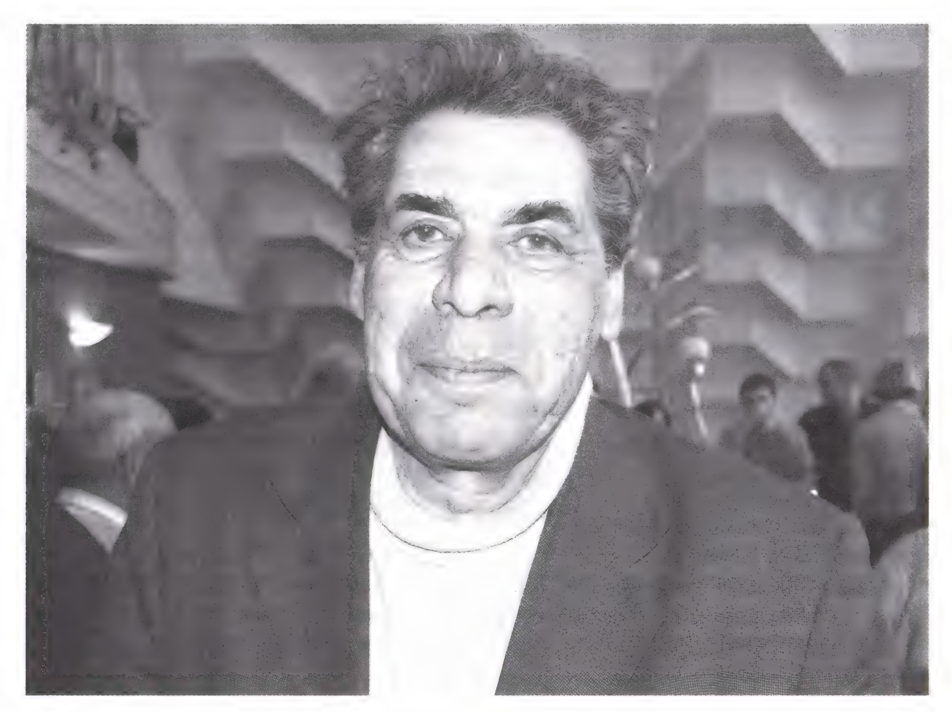
Г.Бокарев.

Дорогие черты

Герману Дробизу

Расскажу я не без робости
кое-что про Геру Дробиза.
Но слова — всего лишь дроби,
а ты — целое — наш Дробиз!
Не укладывается в прописи
дарованье Геры Дробиза,
а стило коль поторопишь —
засмеется Герман Дробиз.
Но подвергнем все же описи
дарованья Геры Дробиза.

Если говорить во-первых,
юморист он, Дробиз Герман.
Если скажем во-вторых,
Герман Дробиз любит стих.
В-третьих, Дробиз без потуг —
кино-мульти-драматург.
Не боится Дробиз черта —
это, кажется, в-четвертых.
Есть и в-пятых, и в-шестых,
но — не будем все шерстить:
ведь не Швейк, не Робинзон,
а уральский Дробиз он!
Здесь собравшаяся ферма



Г.Дробиз.

И хотя грядет засилье
всевозможных пошлостей,
но живет средь нас Застырец
оправданьем наших дней.

Кто не слушает Застырца,
не читает кто его,
тот обязан застрелиться
(или около того).

В завершение доклада
формулирует душа:
не стесняйся же, Аркадий!
Сколько можешь, продолжай!

Ноябрь 2006

Евгению Зашихину

И почему у женщин ноздри
Дрожат от близости мужчин...
Е.Стырская, 1922

Когда подумаешь о Жене
(а мне случается порой),
то мыслей разных мельтешенье
не может ухватить перо.

Ты то изящен, то нахален,
то простодушен, то лукав,

ценит вас и любит, Герман!
Толку что считать года —
мы за вас хотим поддать!

Август 2013

ты в любой работе профи,
пусть на вид аристократ.

Вместо доклада

Аркадию Застырцу

Жизнь скучна земная наша
(а небесная — Бог весть),
к счастью, на земле Аркаша —
здесь поэт Застырец есть.

Звезды всюду ты развесил,
воздвигая слова храм,
и сияют наши веси
от Аркаши пентаграмм.

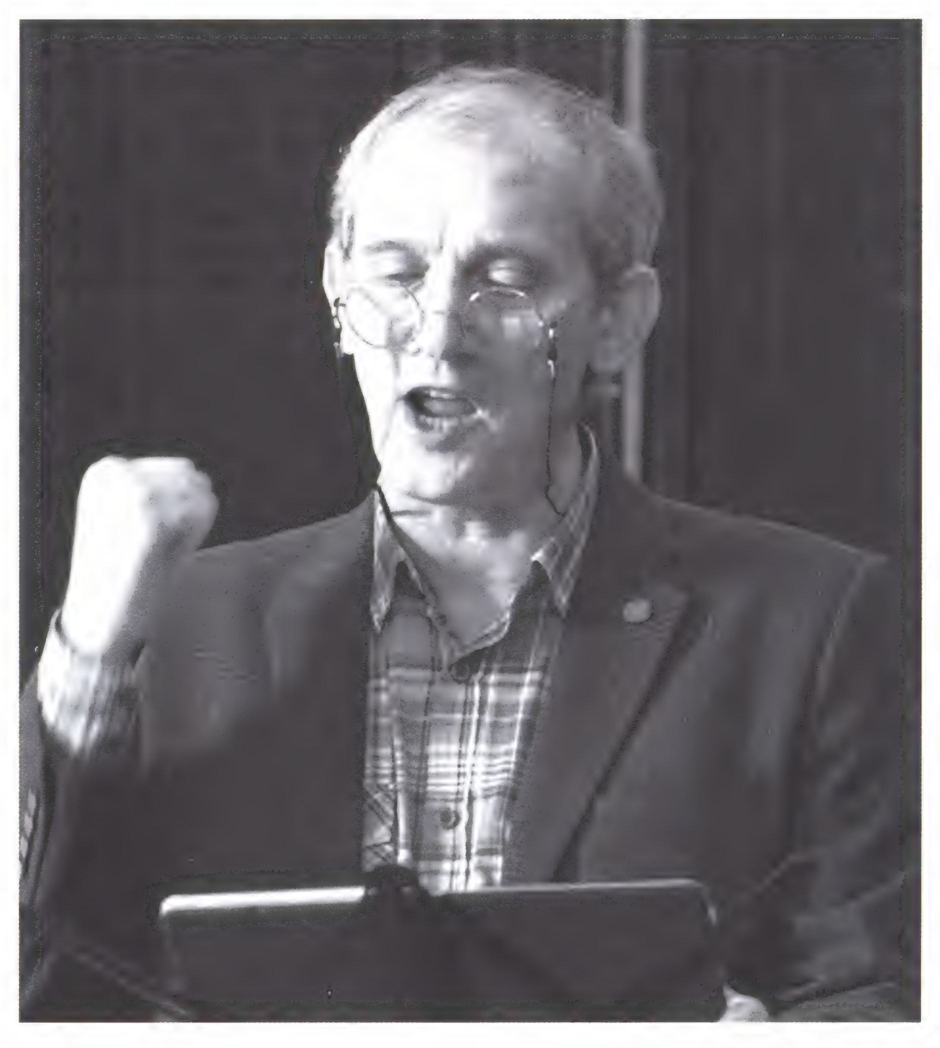
Столько кислого пьем кваса,
но «Мадам Клико» глоток
даже сам Кириллов Вася
рад отведать на зубок.

Чьи статьи всегда серьезны,
чьи стихи порой мудры,
кто и в пьесах, кто и в прозе
понимает шарм игры?

Знают дети и старушки,
знает весь крещеный мир:
вот наш Гете, вот наш Пушкин,
вот кто наш Вильям Шекспир!

Глубина — как у колодца,
сколь ни пей — не исчерпим,
и, по-моему, зовется
в честь Аркаши — Аркаим.

Этот утонченный профиль,
этих впалых щек агат —



А.Застырец.

то невозможно гениален,
то друг прокрустовых лекал.

Алкать ты любишь славу мира,
хотя по виду не вампир,
и не творишь себе кумира,
поскольку сам себе кумир.

Ты не сказать чтобы оратор,
но слушать рад тебя любой —
в ингредиентах дегустатор
коктейль исчислит ли такой?

Скорбел намедни Саша Кердан,
что твой критический бердан,
уставленный на многих смердов,
себя он против не видал.

«А это ведь столь мощный стимул,
дает он творческий оргазм...» —
но ты в ту сторону не двинул
энергию словесных плазм.

Вообще ты стал у нас с годами,
живя те годы между нас,
уже не очень многогамен —
уже и слушаешь подчас!

Конечно, можно из Тагила
мальца извлечь, чтоб все забыл,
но есть ли где такая сила,
чтоб из мальца извлечь Тагил?!

Они, тагильские, вначале
тактичны, вежливы, скромны,
и чистый взор их полн печали
о судьбах края и страны.

Тагильскую оставив волость,
в душе тагильство сохранив,
они, с годами где освоясь,
творить готовы личный мир.

Без страха, робости и лени,
презрев сегодняшний базар,
такие вот, как ты, Евгений,
тагильский в жизнь несут азарт.

Несут его по всей России
(к примеру, взять хотя б Тюмень) —
о том их, может, не просили,
да как унять таких суметь!

Ты по нутру совсем не Яго,
но и Отеллом не назвать.
В тебе к прекрасному есть тяга —
свой вкус горазд ты навязать.

Ты водку любишь больше кваса,
но не отвергнешь и коньяк.
Душой твоей владеет «Барса»,
хоть прежде ставил на «Спартак».

Готов ты в печку бросить книжку,
коль точка там стоит не там.
В стихах воспеть способен мышку,
что местным не далась котам.

Противник дутых ты величий,
но сам величия не чужд...
Ты весь — клубок противоречий,
баланс различных самых чуд.

Похожа жизнь твоя на песни,
что на застолиях звучат,
а между тем проблема пенсий
в твоих сгущается очах.

Но ныне ты все так же молод,
каким казался и вчера.
Таки плеснем себе за ворот
и крикнем Жени в честь «Ура!»

19 мая 2014

Чистодел

Евгению Касимову

Мне тут намедни подложили ксиву —
я грамотный и буквы прочитал:
небезызвестный Е.Касимов
народ на сходку призывал.

Привыкший жить по совести и плану
(его я в том нисколько не виню),
он обещал при том накрыть поляну,
не ясную, однако, по меню.

Над этим текстом поразмыслив малость,
я вспомнил: без меня народ не полн,
и вот, преодолев свою усталость,
вступил я на дворцовый здешний пол.

Подумать только, что Касимов тоже
уже, как я, пенсионером стал!
Да ведь мороз от этого по коже —
как жизнь жестока! Как она проста!

Когда б вы знали, из какого сора
торчат конечности его строки —
да вы в страну Колумба Христофора
давно б тогда сбежали, мужики.

А может быть, припали на колена
пред мужеством работать с нами тут,
и, правда, есть прекрасная Елена,
что вдохновляет хлопчика на труд.

На творчество и даже депутатство,
но, хоть Касимов — государства муж,
словесность — вот его богатство,
ведь он — прозаик (и поэт к тому ж).

Когда капель срывается с карнизов,
и происходит паника в мозгах,
Евгений наш, как депутат Денисов,
тут пашет так, что морщится Москва.

И мне одно, однако, не понятно,
смотря на этой жизни полотно:
ведь если есть аж и на Солнце пятна,
на Жене где хоть пятнышко одно?

С такой судьбою безупречно чистой
средь нехороших нынешних квартир
обязан был стать Женя коммунистом —
и стал, чем удивил уральский мир.

Пусть знаем мы: не сотвори кумира,
живем не меж царей мы и бояр,
но в честь тебя моя бряцает лира,
такой неюбилейный юбиляр!

21 апреля 2014



Е.Касимов.

Александру Кердану

Трактат
юбилейный с пейзажем
сегодня мы Саше расскажем

Зима простерлась над Уралом
почти без видимых следов...
Народ, что зван сюда навалом,
давно к разврату был готов.
Полвека эту дату ждали,
и Александр нас не подвел:
пока мы все соображали,
готовил ты банкетный стол.
Покинув Коркинские ясли,
ты лучше выдумать не мог
и осчастливил наш прекрасный
и не военный городок.
Но в чем, спрошу вас, все же польза,
что Кердан бродит между нас,
когда им бредит, может, Польша
иль Белоруссия как раз?
Кавказ полковника не видел,
хоть, как по Пушкину, скучал, —
везде такой потребен витязь...
Но ты не предал наш Урал.
Ты на родном остался месте,
хотя сместился к северам, —
знать, представления о чести
тебя подвигли, Саша, к нам.
Всегда на подвиги гораздый
(чем заслужил иконостас) —
такого встретив, молвит каждый
в округе нашей «was ist das».
Тебе округой — весь наш округ:
тебя и чают здесь и чтут —
я даже пару глаз зрел мокрых
у тех, кому читал ты тут!
(То были очи, может, Яны —
признаюсь, я не разглядел)...
Возделав многие поляны,
еще ты чуешь: не предел!
Тебе пиита славы — мало,
и, жаждой этой обуян,
ища кирпич для пьедестала,
ты сел, как Слава, за роман.
И к песням полн ты интереса,
к статьям, докладам, интервью... —
глядишь, добавятся и пьесы
в библиографию твою!
И все же, думаю, для сцены
пусть лучше пишет Коляда —
вот диссер докторский оценят
(я знаю по себе) всегда...
Ты отмахал уже полвека —
еще полвека твой резерв.
Ты резв, похож на человека,
став для поэта слишком трезв.
О чем свидетельствует это?
Знать, будем чествовать и впредь
полковника, прозаика, поэта —
так славь сегодня Сашу, медь!

12 января 2007

Лукьяниада
Эпизоды

Валентину Лукьянину

Вышел я не в балаклаве,
ибо молвить не стыжусь:
юбилеит здесь Лукьянин —
друг людей, а также муз.

Отпахал уже на свете
семь десятков с гаком лет —
эту дату чтоб отметить
тут собрался местный цвет.

Путь Лукьянина известен
в основных давно чертах —
не сказать, что это песня,
но и прозе — не чета.

Жизнь в России — это встряска
регулярная для всех:
Валя к нам примчал из Брянска
для работ — не для утех.

Поразив трудом упорным,
дождь презрев, презрев пургу,
Валя на Турбомоторном
начал, чтоб прийти в УрГУ.

И уже когда студентом
Валя брюки протирал,
умственным ингредиентом
многих часто потрясал.

Потому его натуру
Еремеев оценил
и тотчас в аспирантуру
перспективно поместил.

Аспирант был энергичный,
диссер сочинил шутя
и притом в журнал столичный
отослал статью. Статья

напечаталась, и тут же
взяли текст на абордаж:
оправданьем «Не верблюд же!»
пренебрег товарищ наш.

С той поры блондин-мужчина
много текстов написал,
Полозкова их все Нина
тут же тискала в «Урал».

Той журнальной синекурой
был доволен автор сей
и писучею натурой
стал стране он ведом всей.

Средь литературной пьяни
Валентин завидно трезв,
а вот в мыслях В.Лукьянин
зачастую очень резв.

Чтоб пошел чуток на убыль
этот пламенный Фаддей,
сослан был герой на Кубу
(Куба — это где Фидель).

Из российской из глубинки,
из мороза да в жару —
ежедневные кубинки
стали тормозом перу.

Мог стать Валя эмигрантом,
но от солнышка устал,
напросился он обратно
и вернулся на «Урал».



В.Блинов, А.Кердан, Л.Быков.



В.Лукьянин и Л.Быков.

Тут предлог уместен, впрочем,
«в» — точнее он, чем «на»,
и в главреда кресло прочно
сел на долги времена.

Словно на собаку — кошку
или на цифирь — винил,
поменял журнал обложку
и начинку изменил.

Этот перечень новаций,
радикальный разворот
встретил как-то без оваций
буквы знающий народ.

Ну, а те, кто кроме знаков
смыслы могут понимать,
те Лукьянину однако
все сказали: «Исполать!»

Двадцать лет!.. Глаза в мозолях
и от Ельцина массаж —
вот награды этой роли,
что сыграл товарищ наш.

А сегодня, как известно,
направляет оный друг
орган, что зовется «Вестник
Академии наук».

...Время мчит. И с годом каждым
все стремительнее мчит,
но к труду питает жажду
сей, как прежде, индивид.

Пишет срочно, пишет точно,
знает очень много слов —
и в статьях тех крупноблочных
нету строчек для ослов.

И в моих, надеюсь, нету,
потому велит мне стих
как банкетному поэту,
чтобы я уже затих.

Что ж, я воду лить не буду —
не с водою здесь графин.
Поднимаючи посуду,
скажем: Vale, Валентин!

17 декабря 2012

Аннотация

Анне Матвеевой

Сверкает в памяти полоска,
коль прошлое перебирай:
топонимисты из Свердловска
примчали в Вологодский край.
Январь тогда морозил уши
совсем не так, как в наши дни.
Был между них и я, примкнувший
(ведь толерантные они).
Мечты научные лелеяв,
на это не жалея сил,
почти профессор А.Матвеев
нашествием руководил.
В одно нагрянули селенье,
из местных выпрыгнув дрезин, —
покуда шеф вел расселенье,
я — в здешний с ходу магазин.
И там разжился — «Винни-Пухом»!
Блаженством этим разомлев,
иду, лаская книгой брюхо, —
навстречу мне — туда же! — шеф.
«Ну, покажи...» — и, «Винни» видя
(прошу прощения, мадам!),
филфака неформальный лидер:
«Отдай!» — упал к моим ногам.
«Ведь у тебя детишек нету,
а мне — для дочки! Аней звать...»
Но я мольбу отринул эту...
Так вышло много лет назад.
Но, нет, я не корю сегодня
в себе тогдашнего плута:
когда б я эту книгу отдал —
кем дочка выросла бы та?!
Читал бы папа ей про Винни,
сама читала бы потом
и стала бы — филологиней,
глотающей за томом том.
Быть может, чуял я заране,
чтоб не пришлось сейчас жалеть:
иное требовалось Ане —
какое? Ныне видим ведь!
И не сочтите это клюквой —
мне поддакнет любой посад,
что Аня выучила буквы,
не чтоб читать, а чтоб писать!
И сочиняет автор бойко —
по книге, верно, каждый год:
ведь слов известно Анне столько,
сколь знает только весь народ.
То в прошлом жизнь, то в настоящем,
то рай семьи, то катаклизм...
При этом, как всегда, изящен
анноматвеевский магизм!
И спорят критики: откуда
и поместить тебя куда:
меж Стайн, которая Гертруда,
и тезкой — той, что Гавальда?
А вот читатели — не спорят,
а просто книжечки берут



А.Матвеева.

в желанье искренних историй
про там что было или тут.
Не всякий том пускай бестселлер,
но, возникая средь витрин,
чтоб кто читает, лицезрели, —
там не желтеет ни один!
И я того, друзья, не скрою —
особенно приятно мне
сказать: матвеевской строкою
увековечен город Е.
При том добавлю к этим строчкам,
за что б и Нобеля я дал:
три замечательных сыночка —
вот главный Ани капитал!
Да, позади пора рассвета
и утро жизни — позади,
но началась пора расцвета —
и будут зрелости плоды.
Тут подтвердят и Дима Быков,
и Быков тот, что Леонид:
все цифры блещут, словно буквы,
когда талант им смысл вменит.
Но я сверх меры барабаню
и, чтоб совсем не надоел,
поздравлю с днем рожденья Аню,
желая новых славных дел!

19 января 2022

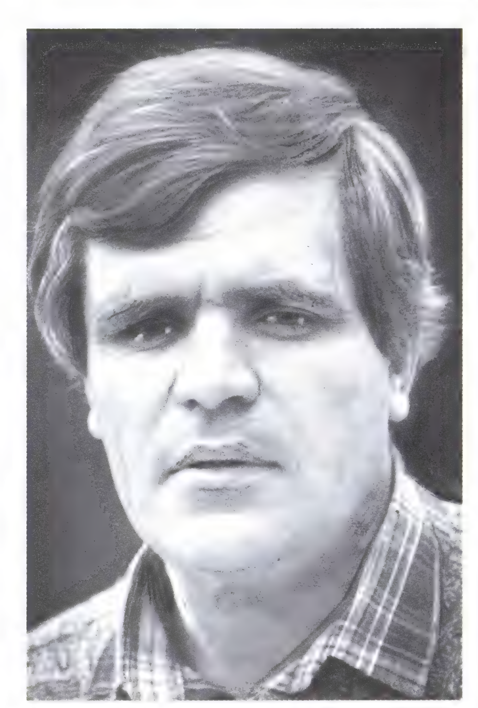


Л.Быков и В.Осипов.

В день 60-летия

Анатолию Новикову

Сегодня пятница, и праздник
народа разгоняет сплин:
кого-то хэлуином дразнят,
а кто-то юбилярит, блин.
Тут Новиков один намедни
уже справлял свой юбилей —
я не сидел на той обедне:
мне этот Новиков милей.
Подумать только: прожил Толик
уже немало лет и зим
и много всяческих буколик
случалось в этой жизни с ним.
На темень падали кометы,
в бичарне теплились огни —
такие множились моменты
в твои единственные дни.
Ты стал отчасти знаменитость
и премий аж лауреат,
и, говорят, с тобой сам Битов
не часто пусть, но выпить рад.
Большой талант — всегда неволя,
кто сколько бы ни принял доз.
При этом, знают все, что Толя
собою радует сельхоз.
Ты много лазил по навозу,
но все ж остался оптимист,
и всяк, твою читая прозу,
с восторгом выдохнет: стилист!
Умея фарт найти без фальши,
ты твердо ставишь свой сапог.
Пускай твое стило и дальше
являет совершенство строк.
Бросая взгляд на путь, что сзади.
тебя причин нет упрекнуть.



А.Новиков.

Так выпьем, тетеньки и дяди,
за предлежащий Толе путь!

31 октября 2003

Осипея

Вадиму Осипову

Октябрь уж нас тупил...
Из жизни
Муза Вадику сказала,
видя сумерки страны:
— За окошком свету мало,
просветители нужны.

Вадик тут же — «Кодак» в руки —
по окрестным шасть местам:
Люди арта и науки
срочно требуются нам!

Кадры эти — в дефиците,
но Вадим суров, как мент:
Извините, проходите.
Или вы — интеллигент?

Отвечает вхожий смачно
и с надеждой на портрет:
Пусть и с внешностью невзрачной,
мы — уральский культпросвет!

Уходящее сословье
для Отечества в цене:
Пелепенко и Волович
повторятся разве? Не!

Люд застыл пред объективом.
Каждый вправду не дурак,
и предстали коллективом,
и при этом — личность всяк.

Пусть для власти мы — придурки,
никакой ей пользы нет,
просветители Е-бурга,
долгих вам и светлых лет!

15 октября 2013

Романное

Роману Сенчину

Что сказать про человека,
если прожил он полвека?
Можно многое сказать,
книги коль его читать.
За плечами у Романа
было два иль три романа
(не о книгах только речь,
но детали — не извлечь).
Строчки книг, как дни, бежали,
трансформируясь в скрижали:
и зоилов длился блеф,
и струился премий шлейф.
Так и жил писатель Сенчин —
в СМИ отечества засвечен,
складен и библиотечен
(всё — нагрузкою на печень!).
И — пока не аксакал —
прискакал вдруг на Урал.
Вырос, как подъемный кран,
в нашей местности Роман.
Меркнут прежние забавы —
здесь опорный край державы
и одною из опор
стал Роман с недавних пор
(ведь давно уже известно:
человека красит место).
Подытожу эти речи:
будь и впредь уральцем, Сенчин,
и читатели всех стран
будут все с тобой, Роман!

2 декабря 2021



А.Титов.

Полутяжелый бомбовоз

Арсену Титову на 70-летие

В ожидании застолья
вы послушайте меня.
Жил на свете Анатолий,
подрастал день ото дня.
О себе он думал много,
развивая интеллект,
не гневить старался Бога,
даже если Бога нет.
Не крутил он хвост у свинки,
а велением души
рисовал порой картинки,
чем тупил карандаши.
На уроках Чеснокова
он хотя преуспевал,
предпочел, однако слово,
В чем, друзья, не прогадал.
Но писать не сразу книжки
стал задумчивый пострел:
чтобы развивать умишко,
поступить в УрГУ посмел.
А учиться на истфаке —
это не хухры-мухры:
своего таланта факел
притушил он до поры.
Сколько надо силы воли,
чтоб спасти грузинский ген:
не из всякого ведь Толи
получается Арсен!
Разгружал мешки с картошкой,
благо, было много сил,
вольнодумствовал немножко,
партстроительством грешил.
Ты напишешь в мемуарах,
что была за лепота —
с Христофоровною Саррой
по-французски лопотать.
Парень ты поскольку яркий,
опосля УрГУшных лет
возвратился в Белоярку,
там возглавив культпросвет.
Стал не по годам серьезен
и вертел солидно ус:
мысли были все — о прозе
(ты других не чаял муз).
Удивлялись все подружки:
это что же за дела!..
У тебя же под подушкой

уже рукопись была.
Напечатали в «Урале»
тот рассказ из многих слов —
так читатели узнали:
есть для них Арсен Титов.
...Годы шли, бежали строчки,
множились страницы книг.
От работы сверхурочной
бронзовел под солнцем лик.
Не видал Арсена хмурым
всяк, кто входит в СРП,
средь начальников АСПУРа
тоже ты — всегда в себе.
Тяжело начальства бремя,
но мужчине сносу нет:
отхватил ты столько премий —
Нобель только шлет привет.
Никогда не будешь старым —
так судьбою решено.
На Сиреневом бульваре
пусть горит твое окно!

Октябрь 2018



Председатель Екатеринбургской городской Думы Е.Порунов, директор Библиотеки главы города Н.Лакедемонская и глава Екатеринбурга А.Чернецкий, 2010-е.

Местное

На 25-летие библиотеки
Главы города (ныне — центр
«Екатеринбург»)

Еще политики на фене
не разговаривали, нет,
а век XX шел на финиш
и город так хотел побед!
А где их взять, побед: в футболе?
В искусстве стройки и житья?..
Метеорит бы рухнул, что ли...
(но это я сказал шутя).
Господь вниманьем нас оставил:
с небес тут только дождь и снег,
а город всё мечтал о славе,
ведь шел к концу двадцатый век!
И посоветоваться не с кем...
Но есть умней, чем я, доцент:
Лакедемонская с Чернецким
придумали библиоцентр!
И сколько же за четверть века
воды в Исети утекло,
а между тем библиотека
есть, где от книг и глаз — светло!
На город наш раздвинешь веки —
и что увидим мы кругом:
ужель мы все больны?! — аптеки
едва ль не в каждый влезли дом!

А.Петров.

Библиотека — не аптека,
и, тем не менее, она
для организма человека
категорически нужна.
Помимо дырочки для клизмы —
уж так устроен индивид —
есть мозг в нормальном организме,
распознающий алфавит.
И буквы те у человека
питают то, что есть — душа.
Вот почему библиотека
категорически нужна!

15 апреля 2022

Петровка

Алексею Петрову

А кто это там, за кулисами,
свое маскирует нутро
промежду актеров с актрисами?
А это ж Алеша Петров!

Не друг ли Петрову при этом он,
что пишет статьи про балет?
Ну что вы! Позыва балетного
в нем внешне и внутренне нет.

А может, Петрову он Водкину
находится в дальней родне?
Рисует он шаржи как фотки, но
на красном не скачет коне.

Талантлив во всем по натуре он,
и в профиль и фас — как купец:
Степан Тимофеичу Збруеву
недаром он точно близнец.

И вирши кропает не хуже нас
(а я вот на сцене — никак...) —
так «За Петрова!» всем ужином
давайте глотнем коньяка.

25 марта 2000

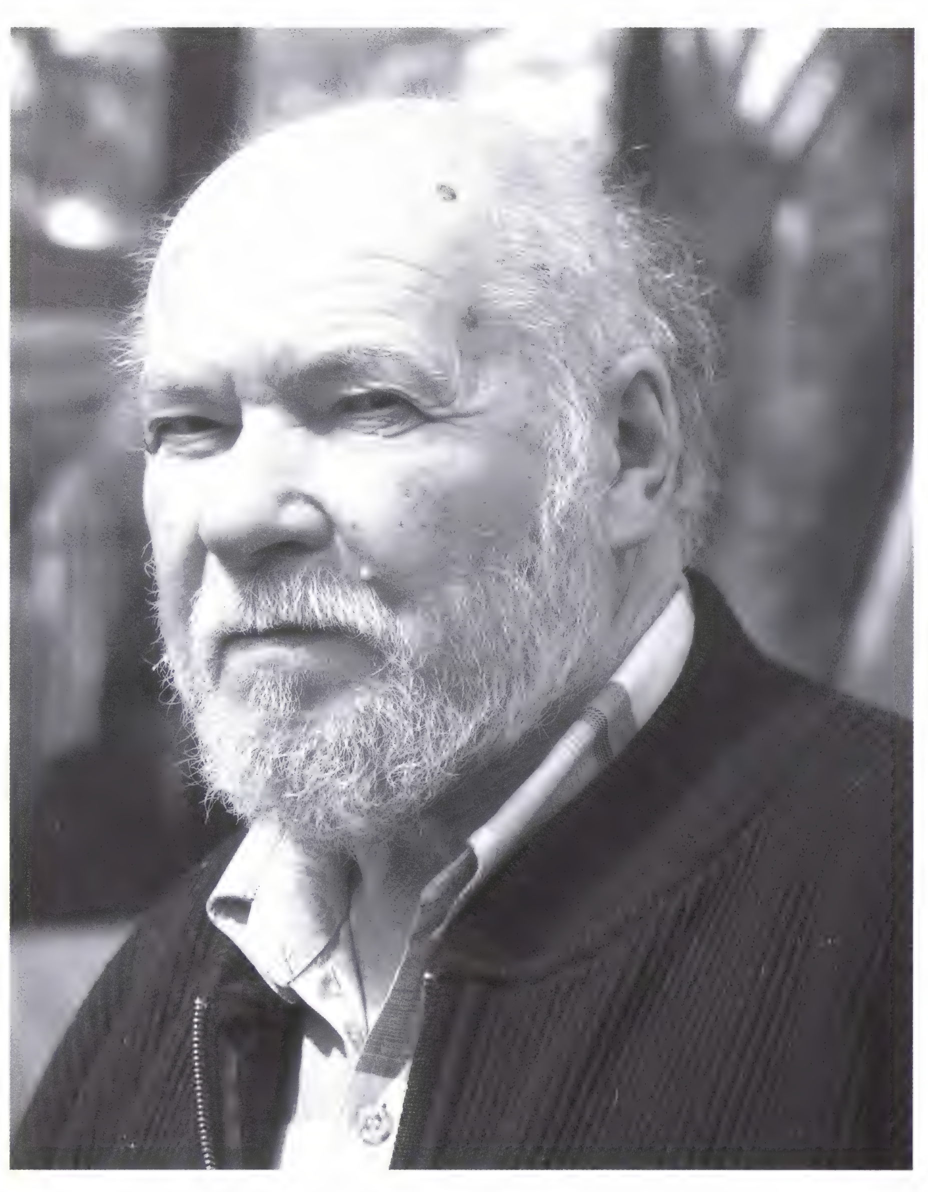
Памяти Миши Брусиловского

Жизнь — то в клетку, то в полоску,
день — то мрачен, то погож...
Миша Шаич Брусиловский
был на ангела похож.

Люди верят мало в сказки,
но художник, правдой жив,
на холсте рифмует краски
и слагает новый миф.

Понимать такое — сложно.
Но сдаваться — не моги,
ведь на то он и художник,
чтобы нам промыть мозги.

Как то вышло, не известно,
но случилась эта лесть:
невозможный дар небесный
очутился с нами здесь.



М.Брусиловский.

Повезло, друзья, Свердловску —
не за что-то, а за так:
ангел Миша Брусиловский
навсегда нам стал земляк.

Постоянство

Виталию Воловичу

Зашихин, пусть и друг, со мной не спорь ты,
хотя поспорить ты всегда не прочь:
Волович делает офорты
и день и ночь, и день и ночь.

На эти стенки свой уставишь взор ты,
но не страшна любому солнцу тень.
Волович делает офорты
и ночь и день, и ночь и день.

Смешались груди, пасти, лица, морды,
но их иглой стараясь истолочь,
Волович делает офорты
и день и ночь, и день и ночь.

Не сокращаются в стране аборты —
мужчинам, знать, усердствовать не лень...
Волович делает офорты
и ночь и день, и ночь и день.

Мои не всем понравятся аккорды,
но и молчать, все это зря, невмочь:
Волович делает офорты
и день и ночь, и день и ночь.

Кой-кто у нас объезживает «форды»
или в заморскую отчаливает сень —
Волович делает офорты
и ночь и день, и ночь и день.

И пусть он жить бы тож хотел комфортно,
и пусть, как все, до водочки охоч —
Волович делает офорты
и день и ночь, и день и ночь.

Среди блистательной когорты
у многих в голове от славы звень —
Волович делает офорты
и ночь и день, и ночь и день.

В.Волович.

Какой бы жизнь ни выкинула фортель,
не будет воду в ступе он толочь:
Волович делает офорты
и день и ночь, и день и ночь.

Будь академик или мухомор ты,
но знай, свой подпираючи плетень:
Волович делает офорты
и ночь и день, и ночь и день.

Его своим признать готовы лорды,
однако без работы жить невмочь:
Волович делает офорты
и день и ночь, и день и ночь.

Художнику грозит разрыв аорты,
но если он художник, а не пень:
Волович делает офорты
и ночь и день, и ночь и день.
Так за Воловича — бокалов звень!

Сентябрь 2008, Галерея «Шлем»

* * *

Памяти Г.Метелёва

У тебя была борода —
многие бородаты.
Ты выпивал иногда —
и я, что ни день, поддатый.

Ты средь подрамников жил —
так многие кисти держат.
Но натяжения жил
ужели у них — те же?

Родился кто в феврале —
не для погод тепличных.
Эклектик? Так на Земле
и жизнь эклектична.

Про «измы» болтать не любил
и не творил — работал,
но и в театре пыл
тратил свой отчего-то.

Обликом — старовер,
таил под бровями зори
и, обозрев пленэр.
снайперски выбрал — Зою.

Нутро твое чуяло жар
и ада, и теплого хлеба,
и, если ты был маляр,
кобальтом драил небо.

Средь левых и правых сам
и левый себе, и правый,
открытый был небесам
и подземельным травам.

Волыны обжил сельцо,
не ждал от судьбы литавров...
Как проступает твое лицо
и в «Лермонтове», и в «кентаврах».



Г.Метелёв.

Весь выкурен «Беломор»,
давно тебе не чета мы:
на равных ведешь там спор
меж ангелами и чертями.

Земной позади удел,
ты слышать нас не обязан...
К какому тополю, где
велосипед твой привязан?
21 февраля 2018

Юрию Филоненко

Мне не страшна цензура,
ведь ныне мой герой —
сам Филоненко Юра,
за правду кто — горой.

Правдивый на картинах,
правдивый и средь нас,
всегда во всем мужчина,
чей неподкупен глаз (и глас!).

Картин творец и график
с безоблачной душой,
ты шлешь охотно на фиг
тех, с кем нехорошо.

Пред жизнью не пасуешь,
ведя свою игру,
не мечешь бисер всуе:
метать — так уж икру!

Не заришься в окошки
удачливых коллег:
людей приятней кошки,
хоть и не пьют коньек.

Здоровье не воловье:
на вид — как Дон-Кихот.
А Санчо кто? Волович?
Нет, габарит не тот.

Тут, может, Брусиловский
фактурой подойдет...
Художники Свердловска—
отчаянный народ!

Нахален я маленько —
простите моветон:
У Юры Филоненко
картинок вышел том.

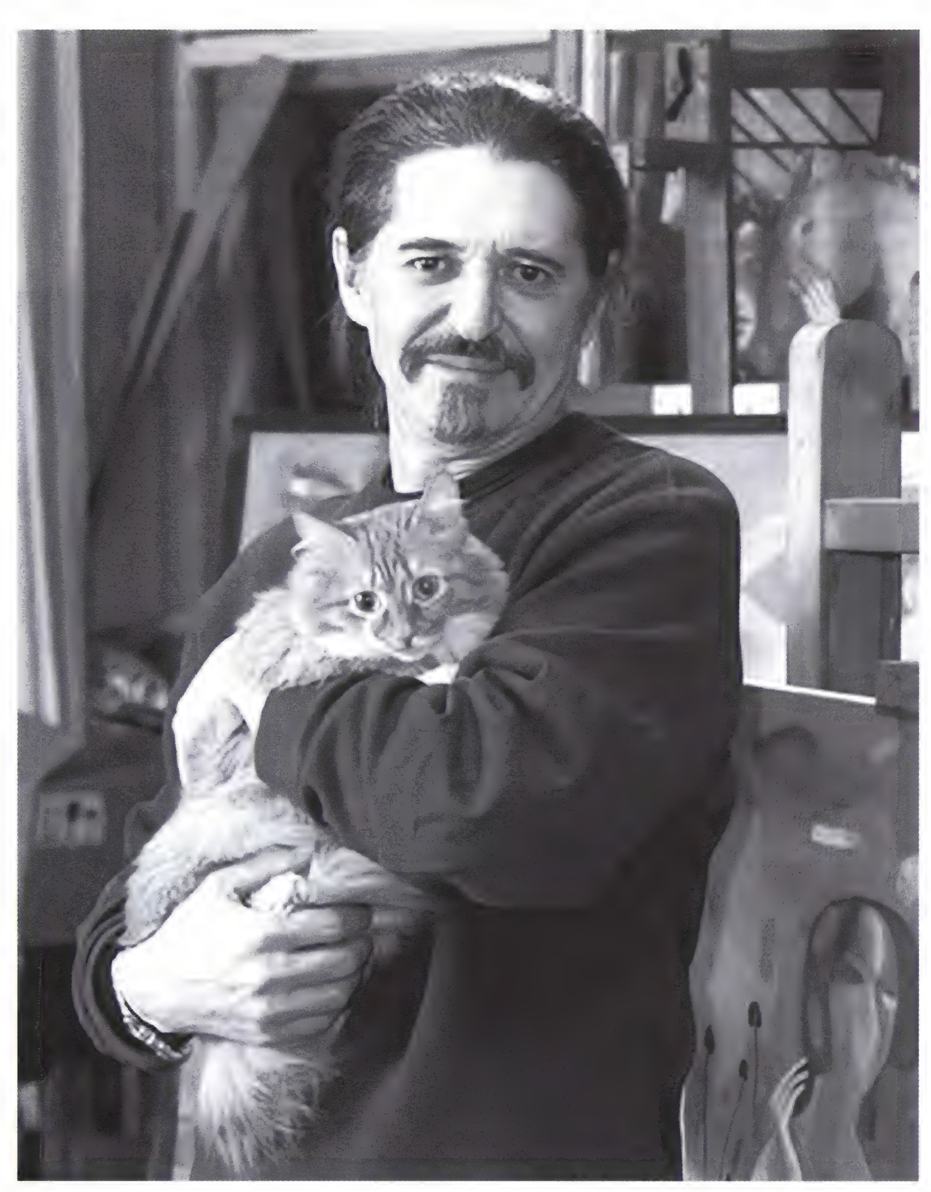
Признание де-юре
да и де-факто есть.
Давайте же в честь Юры
бокалы сдвинем здесь!

Геннадию Мосину

Мы пришли, хотя морозит,
но как с вами хорошо,
гениальный Гена Мосин
и волшебник слов Бажов!
Да, подарок прямо царский
тем, кто празднику открыт:
здесь реальность стала сказкой —



Г.Мосин.



Ю.Филоненко.

тем Урал и знаменит.
Если кто наивно спросит,
кем гордиться край готов,
будут названы и Мосин,
и, конечно же, Бажов.
Сказов малахитны глыбы
и рисунков точный штрих...
Наше позднее «спасибо!»
чудотворцам — на двоих!

7 февраля 2017

* * *

Александру Алексееву-Свинкину

Чьи на стенках здесь картинки,
если б я кого спросил,
Алексеев, скажут, Свинкин
это все изобразил.

Как Руси безмерны веси,
как тут талии тонки,
как живут без лишней спеси
бабы тут и мужики,

как здесь солнце светит ярко,
как необычаен цвет —
«Русский мир» земле подарком,
в кущи райские билет!

За окошком снег растаял,
с неба влага потекла —
кисть у Свинкина такая,
столько у нее тепла!

Завтра льдом затянет лужи,
но художник нам не врет,
и, коль праздник люду нужен,
он на праздник свой зовет.

29 ноября 2016

«Нарисованный город»

Алексею Рыжкову

Врут, что мрачен город этот,
закопчен и зашлакован,—
как улыбчив он и светел
на картинках у Рыжкова!

Лишь во снах, твердят, хорош он,
все чудесное в нем — в прошлом,
но как светел, как пригож он,
этот город — у Алеши,

Все ворчания — умерьте:
так взволнованно и нежно —
так глядят на мир лишь дети,
ну, и ангелы, конечно.

2011

На веснисаже

Весенняя выставка графики
в Доме архитектора
Ах, эта хрупкая весна!
Весна всегда в России хрупкая —
такая, видимо, страна:
нас климат здешний хрумкает.
Но чтобы не сжевать совсем,
а чтоб подоле мучились,
порою солнце светит всем
выглядывая меж тучами.
И сходит кое-где снежок,
чтоб травкою порадовать,
и в мир иной билет, дружок,
еще нам не пора давать.
Про то же самое твердят
поэты и художники —
из этих каждому ребят
быть пессимистом не положено.
Наверно, в красках и словах
мерцают гены радости,
и музыка всегда права —
при всяком в мире градусе.
И ныне взор теплеет наш,
и рот сияет зубками:
стал веснисажем вернисаж —
и здесь весна не хрупкая!

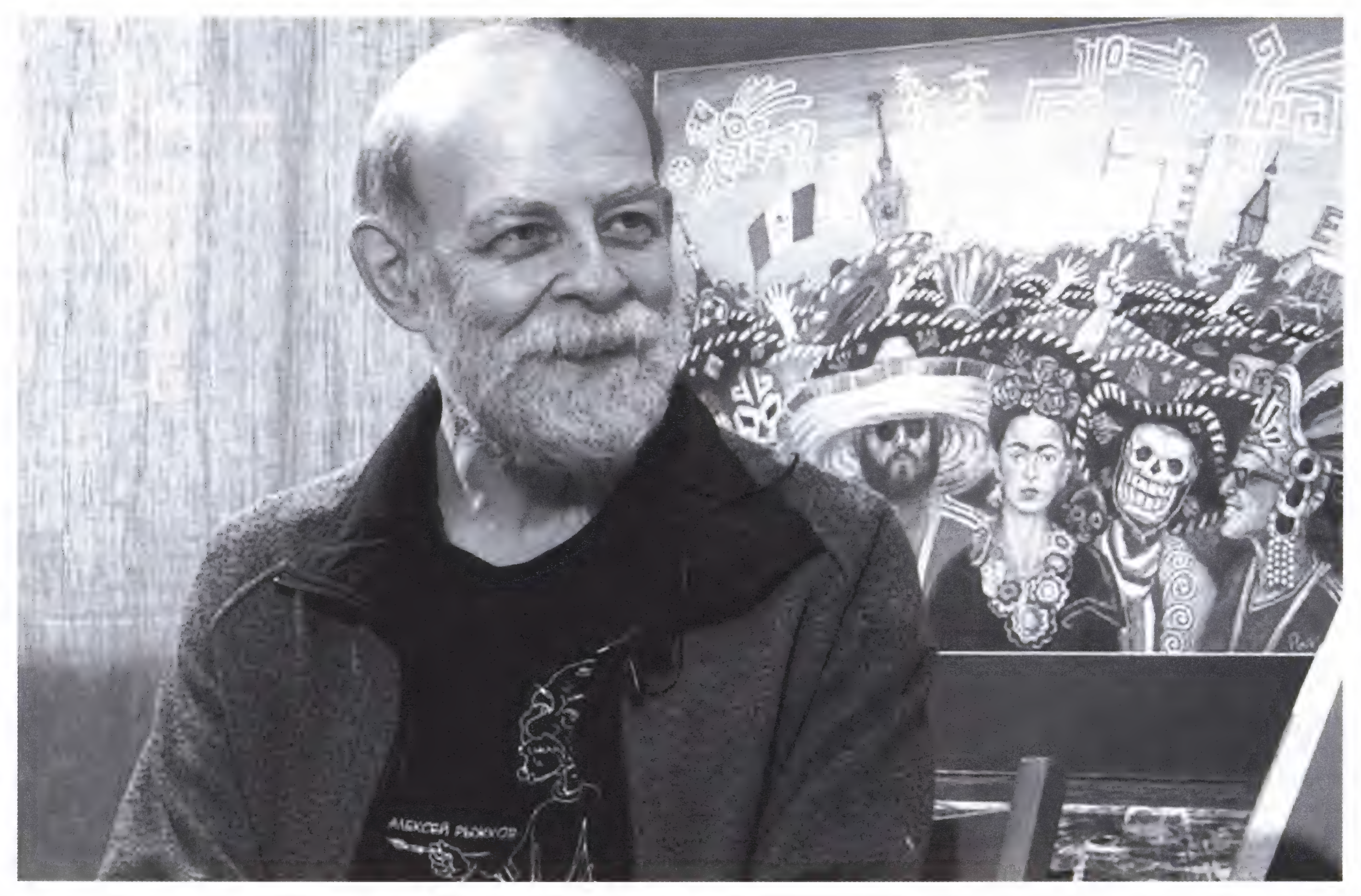
16 марта 2017

* * *

Е.П.Родыгину

Любому школьнику известно:
у композитора семь нот,
но как из них придумать песню,
чтобы запел ее народ?

Тут беполезны пьедесталы,
ведь ясно каждому без слов,
что очень повезло Уралу:
Родыгин — песенный Бажов.



А.Рыжков.



М.Сафронов.



Е.Родыгин.

Да, очень повезло Уралу
и городу, где мы живем,
что ноты знал Евгений Палыч,
чьи песни всей страной поем.

И старики, и молодые —
любой в Отечестве поймет:
звучат в фамилии Родыгин
природа, Родина, народ.

Лет позади у Вас немало,
но юбилей — не эпилог.
Так выпьем же, Евгений Палыч,
за 201-й утренний прыжок!

Всегда светлеют наши лица
от сочетанья этих нот,
И, если песня в мире длится,
кто написал ее — живет!

17 февраля 2015

Сафрониада для дяди Миши

Михаилу Сафронову

О муже мне расскажи, муза, хитроумном, который...
Гомер. Илиада (перевод П. Шуйского)

Живя на свете много лет, я перевидел столько множеств —
казалось бы, что белый свет меня сразить никем не может.

Я рядом с Ельциным стоял, с Кормильцевым шутя бодался,
к Воловичу тянул бокал, мне трижды Стрежнев улыбался!

Ну есть ли тот, кто б удивил меня, банкетов Цицерона?
Такой нашелся: Михаил свет-Вячеславович Сафронов!

С тобой мы рядышком давно: еще в эпоху комсомола
отведать было мне дано овсянку твоего помола.

Шли годы, не спеша сперва, а после время полетело.
Моя рыжела голова, твоя — круглела и мудрела.

Не позабыт родной Ирбит и однокурсники, что в Минске,
и от директорства рябит в служебном Михаила списке.

За Драму там и ТЮЗ строка, про Музкомедию — детали,
и только в Кукольный пока и в Оперу тебя не брали.

Где Шишкин — слушать (не смотреть),
а Стражников, глядишь, допустит,
ведь впереди столетья треть и нету повода для грусти.

Да, ты — серьезное лицо с приятным несерьезным фейсом —
с таким начальником-отцом идут-бегут проблемы лесом.

Народ к унынью не привык, живя в стране оптимизаций,
и кто душою солнцелик, всех побуждает улыбаться.

От Западных скалистых Татр и до дальневосточных склонов
все знают, что могуч театр, в каком директором — Сафронов!

Театр по праву знаменит, что ни премьера — взрыв сенсаций.
От «масок золотых» рябит — уже их вроде восемнадцать.

Всегда директор — Карабас, но если Карабасом — Миша,
он ждет в театре лично вас, и солидарен с ним Всевышний.

Не зря уральский наш народ, кому рублей своих не жалко,
когда их сыщет, то несет — куда несет? — в театр Михалков!

Всегда для счастья повод есть, лета летят пусть в бездну Леты:
всех «масок» повесомей весть, что в кассе кончились билеты.

9 апреля 2019

Театру Музыкальной комедии

Солидный возраст — восемьдесят лет,
постарше вас, пожалуй, лишь Волович.
Не счесть, в честь вас какой банкет —
уже устали вы от славословий.

Но правду ведь приятно говорить,
тем более, что правда лестна:
не нужен комплименту габарит —
театру это лучше всех известно.

Ведь это надобно — уметь,
блаженство получая от работы,
почти что век ломать комедь,
притом еще угадывая ноты!

Такой шарман не многим дан —
быть обаятельным, как прежде.
Так вот что значит — капитан,
будь Курочкин или будь Стрежнев!

Рад констатировать всегда
любой ваш постоянный зритель:
что ни артист — ну прямь звезда!
Тут столько солнышек в зените!

С утра до полночи кипит
энтузиазм под этой крышей,
а в результате — как магнит,
строка любая на афише!

Интриги полн репертуар,
а перья критиков — елея.
Пусть будет гладким тротуар
до векового юбилея!

Сентябрь 2013

На орбите Ирбита

PS к театральному фестивалю «Ирбитские подмостки» в год 175-летия местного театра

И подстрижен, и умытый,
упакованный в костюм,
на жену оставив чум,
еду в сторону Ирбита,
полный разных чувств и дум.

Театральная элита
населяла тарантас,
что до славного Ирбита
по поверхности избитой
доставлял прилежно нас.

В самый первый день апреля
всяк на сцену кто глядит,
будь критичный он Емеля
иль по должности завлит,
непременно мчит в Ирбит.

А зачем — уж извините
за нескромный сей вопрос —
надо ныне быть в Ирбите:
можно б в Гари или Ивдель,
но сюда спешил обоз?

Дураков день, говорите?
Сей ответ — он бестолков:
разве город сей таков:
вы не сыщите в Ирбите
даже пары дураков!

В этом городе событье
в первый из апрельских дней:
есть театр в н.п. Ирбите,
и сегодня он, учтите,
отмечает юбилей!

Хроносом зело обласкан —
тем в стране и знаменит:
как о ярмарке тут сказки
иль про мотоцикл с коляской,
стажем славит он Ирбит.

Мы примчали на начало —
и какой открылся вид:
нет на сцене аксакалов,
молодой у труппы вид —
значит, врет про стаж Ирбит?!

Но таить нельзя обиду
на театр сей ни за что:
служит городу Ирбиту
лет он, словно соцзащита,
пять плюс семьдесят плюс сто!

Здесь искусство не забыто:
в том театра естество,
чтобы поднимать из быта
население Ирбита
и окрестностей его.

Ведь полезней общепита
для души счастливый труд —
знают граждане Ирбита:
от сердечного рахита
лучшее лекарство — тут!

Много истин есть избитых
и грозит планете хам
поклонением деньгам —
и поэтому в Ирбите
Мельпомены нужен храм!

Вам — в избытке реквизита
и билетов дефицит —
ведь покуда здесь в Ирбите
светят эти вот софиты,
будет славный град Ирбит!

1 апреля 2021



А.Рыжков, Л.Быков, В.Вельбой.

Дифирамбы — ямбом

Б.Г.Нодельману, дирижеру, болельщику, автору книги «Ямбы и дифирамбы»

В Свердловске жарко так сегодня,
как в африканейшей из стран:
а это градус ныне поднял
Борис Григорьич Нодельман.

Который день вот в этом храме
сбирается достойный люд:
мужи солидные и дамы —
нас столько не бывало тут!

Преуменьшаю я? Не спорю:
бывали все. Но чтоб вот так?!
А все хотят поздравить Борю,
на этот лезут все чердак.

В собраньи просвещенном нашем
готов я прочитать роман,
как дирижерской палкой машет
Борис Григорьич Нодельман.

Вцепился в эту штуку крепко
с той силой творческой, с какой
достал бы лично в сказке репку
своей мозолистой рукой.

Одною правой, в коей держит —
ну как на перекрестке мент,
который вас вот-вот задержит, —
свой несравненный инструмент.

Б.Нодельман.

С волшебной палкой, как Всевышний,
чуть с незапамятных годин,
когда на сцену нашу вышел
один Беспечный гражданин.

Потом графини и княгини,
девицы самых разных стран
над вами свой канкан явили,
Борис Григорьич Нодельман.

Казалось это неприлично —
стоял среди партера ор,
но палочкой махал привычно
невозмутимый дирижер.

В России как входили в силу
сирийский вор и римский черт,
глядеть народу приходилось
через Борисово плечо.

С годами многого добился,
хоть в яме сутками сидит, —
а хоть чему бы удивился
сей импозантный индивид!

Пред ним бессильны все, хоть тресни, —
ему кем статус этот дан?
Как барабанщик в джаз-оркестре —
вот так в театре Нодельман!

До седины пускай ты дожил,
но разве ты в театре свой?



Л.Быков и Д.Шеваров. *Январъ, 2019 г.*

Е.Зашихин, Г.Тутынина, Л.Быков, А.Пантыкин.

Тебе футбол всех нас дороже:
а наш футбол — ах, боже мой!..

Не время говорить об этом,
свои чтоб не печалить лбы,
зато ты всем предстал поэтом —
чем не подарок от судьбы?

Но будет бесконечно жалко,
вдруг на стихи свой сменишь рай:
махай своей волшебной палкой,
Борис Григорьевич, махай!

2016, 2021 Музкомедия

Дедлайн

Александру Пантыкину

Урал в сомнении великом,
хоть знают все, что годы — мчат:
неужто, Александр Пантыкин,
тебе минуло шестьдесят?!
Поверить в это людям тяжко —
бухгалтер лет ужели прав?—
еще недавно был ты Сашкой,
изящен в талии, кудряв.
Эпоху финишного транса
Советский приближал Союз,
когда звучание «Сонанса»
уконтрапупил «Урфин Джюс».
Пантыкин, Белкин и Назимов
собою сотрясли рок-клуб:
ведь, двери, помню, выносили —
слаб перед музыкою дуб!
Кто тайну нот с рожденья ведал,
обрел достойный пьедестал:
уральский рок нуждался в деде —
и Саня дедушкою стал.
Во всем стремящийся до сути
и находящий эту суть,
ты спрятал в бункер фирму «Tutti»,
чтоб миру музыку вернуть.
Семь нот всего известно Саше,
но их достаточно сполна
тому, кто ежедневно пашет,
пиша для сцены и кина.
Не сосчитать наград и премий,
к каким давно привычен ты, —
ну, не хватает разве «Гремми»
для эксклюзивной полноты.
Талант твой получил огранку,
но — наш футбол бы как блистал,
когда б тебя не в музыкалку
отдали в детстве, а в спортзал!..
С тобой в интимной связи музы:
ты им — достойный ухажёр,
и в композиторском Союзе
не потому ль ты — дирижёр!
И, поздравляя с новым стажем,
желает искренне народ
Пантыкину сегодня Саше
впредь гармоничных лет и нот!

Нинив

Нине Горлановой

В душе порою слякоть
убийственна почти —
но вместо чтобы плакать
Горланову прочти.

В ее прелестных строчках
из мусора судьбы
рождается воочию
Рождественская быль.

Когда тоскливо очень
(а ныне мир тосклив),
увидеть надо срочно
горлановский наив.

Тут ангелы и рыбы,
букеты, петухи —



Н.Горланова.

увидеть вы смогли бы
ожившие стихи.

Тут радуга акрила
для сердца и для глаз,
тут верится, что крылья
возможны и у нас.

Живительного кайфа
неутомим родник —
Евангельская Марфа
вернулась в наши дни.

Средь общего стервоза
вся меркнет дребедень —
горлановости доза
полезна каждый день.

Прочтешь или увидишь,
чтоб душу ублажить, —
и прочь на жизнь обиды,
и вновь охота жить!

20 февраля 2015

Литобъединение «Живые родники»

Л.К.Назаревской

Как медведь в свою берлогу,
позабыв родной УрГУ,
мчал сегодня я, ей-богу,
быть в родном Сухом Логу.

Ныне славный день осенний,
бабье лето длит сентябрь,
и в такое воскресенье
тут мы радуем себя.

За окном шумит природа,
ну, а здесь, где все тихи,
средь любезного народа
произносятся стихи.

Без стихов жить, в общем, можно
(это все-таки не хлеб), но родное
Сухоложье —
не поскотина, не хлев.

Не животные мы твари —
в каждом теле есть и дух,
каждый, может, не бездарен,
убеждаясь в том на слух.



Л.Назаревская.

Пусть поэтами не будем,
в нас поэзия живет.
Значит, все-таки мы люди,
а не подъяремный скот.

Чем всегда была Россия
и богата, и сильна?
В слове наша с вами сила,
мы — поэзии страна.

Пусть и дальше все дерзают —
все, кто ищет толк в словах.
Родники не замерзают —
значит, родина жива!

25 сентября 2011, Сухой Лог

На презентации
«Екатеринбурга литературного»

В унылую уральскую погоду,
Макар телятей не пасет когда,
угодно было местному народу
на встречу эту прибежать сюда.

Пока маразм в стране крепчает,
еще мозги не растерявший люд,
естественно, мгновенно замечает
тот труд, что представляем с вами тут.

В стране искусство ныне не почете,
когда оно про мир, а не войну,
и вряд ли завтра в прессе вы прочтете
про наше действо строчку хоть одну.

Но против ветра дуть — не много толка,
и возвращает к сущему строка:
вот книга вышла — не скучать на полке,
а постоянно в наших быть руках.

Кто знает буквы, господа и леди,
шанс есть свои таланты показать
и самой свежей из энциклопедий
страницы на досуге полистать.

Не то что станете потом умнее
или изысканней ваш будет вкус,
но пользу ощутите вы, уверен,
да что — уверен: в этом я клянусь!

И мне велит банкетная натура
так подытожить пролетевший час:
пока средь нас жива литература,
есть шансы на бессмертие у нас!
6 сентября 2016 «Пиотровский»

Татьяне Богиной

Были годы — я в телеэкране
видел чуть не каждый Божий день:
улыбалась Богина мне Таня —
я в ответ ей улыбался, пень.

Время шло, а там и побежало —
Хроноса безжалостна к нам прыть.
Эта резвость мне не помешала
Богину и впредь боготворить.



Т.Богина.

Как-то я свою оставил спесь и
заглянул в контору БКИ:
кто же издает журнал там «Веси»?
Богина. Всем контрам вопреки.

Да, немало книжек и журнал вот —
Это ж сколько надобно прочесть!
И, само собой, в душе сказалось:
Бог, мерси, что Богина здесь есть!

Где-то я читал, что бабы — дуры,
ежели не ценят мужиков:
Танечку без Юриной фактуры
мне и всем представить нелегко.

Никакую не открою тайну —
Таня — мой, поверьте, давний друг.
Так давайте все поздравим Таню:
Аплодисменты, Екатеринбург!

7 марта 2015

Банкирное

Юрию Владимировичу Яценко,
директору издательства
«Банк культурной
информации»

Утро начинается с рассвета,
дважды два едва ли будет пять —
вы, наверно, знаете об этом,
но порой не грех напоминать.

Даже если был бы я доцентом
(а доцентом, помнится, я был),
что тут день рождения Яценко,
и тогда бы, точно, не забыл.

Дата эта в БКИшном стане
всех ввергает в трепетный кураж
и блаженствуем мы вместе с Таней:
подрастает, глянь-ка, Юрий наш!

Ты расти — на благо всей культуры
и, конечно, сердцем не старей.



Ю.Яценко.

Впрочем, это трудно: ведь у Юры
столько замечательных друзей.

Кое-кто при этом, правда, пишет,
и, в приемной видя эту рать,
Юра не проходит мимо нищих,
но ведь всю Россию не издать...

Без апломба, суеты и спеси,
но всегда с улыбкой и душой,
радуя собой Урала веси,
Юра здесь — и это хорошо.

Дли и впредь работу и досуги,
а недуги всякие — гони.
Так поднимем же за Юру, други:
чтоб и впредь ты радовал нам дни!

17 августа

ФАКУЛЬТАТИВНО (ЛИРИКА)

На водах

Два стихотворения

1

Леониду Юзефовичу

Фортуна окаянна вертит задом,
но все ж подчас выказывает бюст.
Нас не совсем еще забыла радость,
хотя и неизбывной стала грусть.

И пусть живем теперь одним «сейчас»,
но редкие мгновения былого
открытым взглядом, несказанным словом
и через годы ублажают нас.

Так вспомню я на пенсии в охотку,
перебирая бывшее со мной,
как в водах Сылвы таял свет дневной
и луч последний метил нашу лодку
и угасал, теряясь за кормой.

1984

2

Е.З.

В то утро была в настроении осень —
сентябрь будто что-то забыл и вернулся.
И только холодные облики сосен
да слишком прохладные реплики весел
мешали забыть, что визит затянулся.

И если смотреть с того берега дальнего,
где ты, чуть заметна, виднелась у здания,
то взгляд твой едва ли теплел от картины:
шло к финишу озера солнцевязание
и лодка моя исчезала в сиянии,
как лист потемневший,
слетевший с осины.

1972

Командировочное

1

Через два часа уеду,
не померкнет белый свет,
вы оглянетесь к обеду —
а товарища и нет.

Изобилием печали
не испортите лица,
не запишите в скрижали
даже имя молодца.

Ведь не должен современник
между дел под кожу лезть...

Тем не мене, тем не мене
хорошо, что был я здесь

За нахальство извините,
но с надеждой бы сказал:
вновь приеду — приходите,
чтобы встретить, на вокзал.

Где-то в Сибири

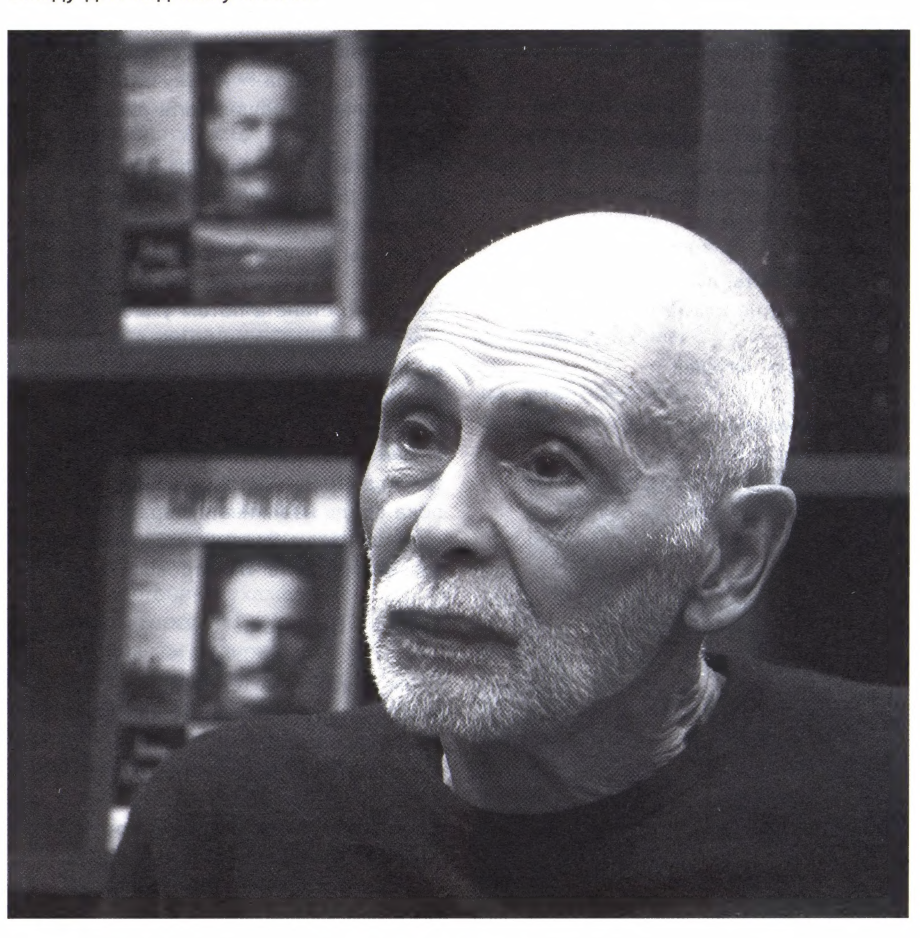
2

Снова осень в окрестностях Томска
золотой искушает листвой.
Снова я сожалею о том, что
в этих весях я все же не свой.

Впрочем, в этом отчасти и прелесть
посещения избранных мест:
гость, хотя и глядит, как бездельник,
но, однако же, не надоест.

Не успеет, хоть выпито много,
да и сказано столько всего,
но уже ожидает дорога
отрезвевшего завтра его.

И, вдыхая старательно воздух
несравненных Сибирских Афин,
скоро, знает, не вас будет возле —
снова там, где родимый овин.



Л.Юзефович.

В.Дагуров и Г.Бокарев.



М.Брусиловский и В.Волович в мастерской А.Антонова.

ЗОВСКИЙ
ЗВЕНИ, МЕДУНИЦА

«...Под знойным солнцем бытия»
«...Under the scorching sun of life»

александр ЧУМАНОВ
ТЕЛО ДУШИ

вячеслав САЛОМАТИН
ЗАГАДКА

николай ДЕНИСОВ
ЗАВЕТНАЯ СТРАНА

Герман ИВАНОВ
ПОД ОБЩИМ НЕБОМ

валерий ДЕДКОВ
НА КРАЮ

Дагуров Владимир
лирика

Чунина Тамара
Я начинаю сказку говорить...
стихотворения

александр ДРАТ
стихотворения поэмы
ПРОК

Ермолаев Валерий
лирика, поэмы

Фатыхов Салим
расслоенное время
стихотворения

Ювеналий ГЛУШКОВ
НОЧНЫЕ ПОЕЗДА

Николай ГОДИНА
РУЧНАЯ РАБОТА

ВЕСЕННИЕ СОБЛАЗНЫ
ВЛАДИМИР ДАГУРОВ
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Тарбеев Виктор
Орден Жизни
избранные стихотворения

Андрей Комлев
СВОД
ИЗ КНИГ АНДРЕЯ КОМЛЕВА

Комлев Андрей
ЛИК
стихотворения

Виктор КОЗЛОВ
ОТ ПОКРОВА ДО ПОКРОВА

Анатолий МАРЛАСОВ
ПРЕД СВЕТЛЫМ ИМЕНЕМ ТВОИМ...

БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ КАМЕННОГО ПОЯСА

ЕКАТЕРИНБУРГ: ИЗДАТЕЛЬСТВО «БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»

МАРЬЕВ
ИДТИ, КАК ЖИЗНЬ

Мальков Владимир
ВОЗВРАЩЕНИЕ
из поэтических тетрадей

СИНЬ
ВЯЧЕСЛАВ ТЕРЕНТЬЕВ

Тарабукин Игорь
сатирические стихи

Любовь Ладейщикова
ПРЕМИЯ СОЛНЦА

Токарев Сергей

НА НАШЕМ СВЕТЕ
КСЕНИЯ НЕКРАСОВА
СТИХОТВОРЕНИЯ

Яков Либерман
Из классической еврейской поэзии

МЫ В ПОБЕДЕ УЗНАЛИ себя...

Петров Алексей
рифмы
стихотворения

Майя Никулина
Стихи

алексей РЕШЕТОВ
ТЕМНЫЕ СВЕТЫ

ЯВЬ
ВЕНЕДИКТ СТАНЦЕВ
СТИХИ, БАЛЛАДЫ И ПОЭМЫ

Соколов
ДВОЙНИК
стихи разных лет

Слукин Всеволод

Щербинин Виталий
сюжеты

герман ДРОБИЗ

Станцев Венедикт
слог

михаил НАЙДИЧ

Сергей БОРИСОВ
СВЕТОТЕНЬ

Волынский